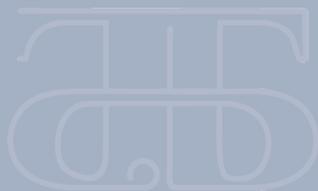


№ 8 (№ 1/2019)

БЕРЛИН.БЕРЕГА

Литературный журнал

Literaturzeitschrift BERLIN .BEREGA



В НОМЕРЕ:

- **Иван ТОЛСТОЙ**
Интервью к 120-летию Владимира Набокова
- **Памяти Олега Юрьева**
- **Александр ДЕЛЬФИНОВ**
„ЛЮ“. Стихи
- **Ольга ФЕДОРОВСКАЯ**
О Сергее Есенине в Германии. Статья



Редакция / Redaktion:

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**

Редакторы/Fachredakteure:

Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**

Проза / Prosa: **Дмитрий Вачедин / Dmitry Vachedin**

Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**

Рецензии / Rezensionen **Ирина Мург / Irina Murg**

Кино / Kino: **Вера Колкутина / Vera Kolkutina**

Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**

Корректоры/Korrekturen: **Э. Лурье, Г. Аросев / E. Lurje, G. Arosev**

Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: **Мария Аросева / Maria Aroseva**

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,
Riehlstrasse 13, 14057 Berlin, Deutschland
www.simon-bw.de / www.berlin-berega.de / berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin
ISSN 2366-3510

Copyright © 2018 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin
Copyright Texte © 2018 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР ДЕЛЬФИНОВ — ЛЮ, стихи.....	5
ЖЕНЯ МАРКОВА — Время дышать , стихи.....	11
ПОЛИНА БАРСКОВА — Памяти Олега Юрьева	22
ОЛЕГ ЮРЬЕВ — О медленном золоте нашего дня , стихотворение.....	24
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ — Всевышний знает , повесть ..	25
ТАТЬЯНА ДАГОВИЧ — Путь к Конгломерату , фрагмент постапокалиптического романа „После событий“.....	53
ЮЛИЯ ШОКОЛ — Сон кувшинки , стихи	63
ЖАННА ЛЕБЕДЕВА — Треугольная литера , стихи	70
ЛЕРА МАНОВИЧ — Задница, Музыка , рассказы.....	75
ВАНКОК СЕМЁНОВ — Девочка из Катманду , рассказ ..	84
АЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ — Конечесветие от кутюр , стихи.....	90
БОРИС МАРКОВСКИЙ — Случайные строфы , стихи	94

ДЕБЮТ

ЯНИНА АХХ — Демоны Клары , рассказ.....	100
СЕРГЕЙ ПРОНИН — Поездка за кофе , рассказ	105

ПЕРЕВОДЫ

МАКС ГЕРМАН-НАЙСЕ — Хвала Луне, Вечная родина , стихи. Переводы Сергея Страхова и Людмилы де Витт.....	112
ГЕОРГ ГЕЙМ — Бог города, Вечер, „Вмиг устрица захлопывает...“ , Сон в светло-голубом, Робеспьер , стихи. Переводы Анны Давидян.....	118
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ — Сон, Лорелей , стихи. Переводы Сони Рыбкиной.....	124

К 120-ЛЕТИЮ В. НАБОКОВА

ИВАН ТОЛСТОЙ — Может, и благо, что Набоков не любил Берлин , интервью.....	128
ЮЛИЯ ВИШКЕ — По Берлину с Набоковым , эссе	140
НЕЛЛИ ШУЛЬМАН — Июль , эссе	146
ГРИГОРИЙ АРОСЕВ — Бесконечный набоковский день , эссе	150

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

ОЛЬГА ФЕДОРОВСКАЯ — «Много я видел и много я странствовал...» О Сергее Есенине в Германии , статья..	154
ИННА САВВАТЕЕВА — О людях с тактильным инстинктом , рецензия на книгу Вальтера Беньямина „ <i>O коллекционерах и коллекционировании</i> “	171
ЕЛЕНА ЭЙНГОРН — Важность «толдот» , рецензия на книгу Максима Биллера „ <i>Sechs Koffer</i> “	175
ЕЛЕНА ИНОЗЕМЦЕВА — Взгляд со стороны. Английские путешественницы в большевистской России , рецензия на книгу Надин Менцель „ <i>Nach Moskau und zurück</i> “	178
МАРК ТАЛЬБЕРГ-ЖУКОВ — Загадка с блошиного рынка , рецензия на книгу Валерия Бочкова „ <i>Берлинская латунь</i> “	181

КИНО

ВЕРА КОЛКУТИНА — 2018/2020. Жанры и их сочетания. Смотрим, распознаём, удивляемся , кинообзор.....	184
---	-----

ТЕАТР

ЛЕВ КАЗАРНОВСКИЙ — В объятиях «социала» , пьеса .	188
Сведения об авторах	203
Kurze Zusammenfassung	209
Информация о подписке	211

Александр Дельфинов

Опустевший дом

Приходишь в дом,
Пустой, как тот сосуд,
В котором пламя
Выгорело. Стрелки
По кругу с адской
Скоростью идут,
И собственное сердце
На тарелке.
Приходишь в дом,
Где нету ни детей,
Ни взрослых. Книги
Скалят зубы с полок.
Скрип половиц,
Как трущихся костей,
И воздух ломкий,
Как глоток иголок.
Приходит боль
Раскрывшимся цветком
Мясных слоёв
И щёлкающих лезвий,
А череп пустотой
Набит битком,
Звенящей, злой —
Ни скрыться,
Ни исчезнуть.
Приходишь в дом,
Но дом скользит червём
И внутрь тебя
Вползает по спирали,
А ты ревёшь,
Как будто мы живём
И никогда ещё
Не умирали.

Жду письма

Жду письма. Угрюмый, сонный,
Завернулся в плед.
Почта стала электронной,
Только связи нет.
Жду сигнала. За окошком
Дышит хищный Рим.
Я дождусь. Ещё немножко —
И поговорим.
Ты пришлешь смешное селфи,
Смайлик пятачком.
Ночь поймал на тонкий нерв я
За губу крючком.
Впереди горит волшебю
Горькая черта.
(Чай кушить бы, да и хлеб, но
Лавка заперта.)
Кто здесь искрою нейронной
Вспыхнул и потух?
Жди жнеца, жилец влюбленный.
Мясо. Кости. Дух.

Ничего не надо говорить

Ничего не надо говорить.
Суп из чечевицы доварить —
Чудо потихоньку сотворить.
Спросишь ты: «А что это такое?»
Но нельзя мгновение продлить,
И не стоит слёз впустую лить,
Лучше суп в тарелке досолить,
Поводив над варевом рукою.

Пахнет перцем, луком и золой.
Помню, в печку сунулся малой
В деревенском доме, да метлой
Двинула по заднице старуха.

Или это было не со мной?
Я готов отдать тебе одной
И юлу, и танчик заводной,
И значки, и зайчика без уха.

Спросишь ты: «А это мне к чему?»
Позабудь смешную кутерьму,
Ничего и нету, только тьму
Вскипяти в японской пароварке.
Милый дом, светлеющий покой,
Будет день обычный, никакой,
Поводи над варевом рукой,
Получи волшебные подарки.

И значки, и танчик, и юла,
Зайчик мутно зырит из угла,
И опять развязана метла,
И старуха на дворе с косою
Расчищает до калитки путь.
Мир зарос, ни охнуть, ни вздохнуть.
Я спрошу: «А мы когда-нибудь?..»
Ты ответишь: «Только не со мною».

ЛЮ

Не то что скучаю, но нервничаю,
Места не нахожу себе, плохо сплю,
Ем какую-то дрянь или вовсе не ем, привередничаю,
Языком на зубах нащупываю сонорный и гласный:
«ЛЮ».
Люди на улицах такие же, как и прежде,
Много татуированных — теперь это модный тренд.
Без одежды интереснее, чем в одежде!
«Ведите себя приличнее, пациент».
Доктор! Если б вы знали, как мне хорошо, когда она рядом,
То не затеяли бы этот мутный торг.
Но доктор смотрит куда-то вбок своим щучьим взглядом
И повторяет: «В морг!»

Мне-то что, у бессмертных свои печали,
Бесконечность закручивается в петлю.
Да, я немного нервничаю, но нет, не скучаю.
Я не скучаю. Нет, не скучаю.
ЛЮ.

Хозяин бара

Ты улыбалась. Я болтал.
Но тишина вокруг стужалась
И в барный сумрак помещалась,
Как *Guinness* в фирменный бокал.
А меж столов, как в детской сказке,
Ходил хозяин в страшной маске.

Трепался я о ерунде
(Так на ветру трепещет знамя),
И сотворялось чудо с нами —
Мы растворялись, как в воде,
В пространстве чада и угара,
И рядом плыл хозяин бара.

Я раскрывал, как рыба, рот,
И нас вращало разговором,
А рядом пел беззвучным хором
Слегка подвыпивший народ
С различных городских окраин,
И с ними вместе пел хозяин.

Я так хотел тебя обнять
И леденел в подвальном зале,
Сквозь полумрак меня пронзали
Твои глаза, как два огня.
Хозяин бара, грустный демон,
Где вечер тот, и сами где мы?

Дождь

Дождь шуршит и мнётся за окошком,
Словно целлофановый пакет,
Раз в минуту капля ставит точку
Мне на подоконник, как хай-хэт.
Ночь свингует чёрною синкопой,
Во дворе танцуют деревья,
Я накрыт холодной Европой,
Стынет на подушке голова,
Снится сон, что Зевс заплакал кровью,
И весь мир отныне буро-рыж.
Это просто дождь колотит дробью
По тарелкам черепичных крыш.

Далеко/близко

Я не спал, ты нагнулась низко
И на ушко шепнула легко:
«Мне больнее, когда ты близко,
И спокойней, когда далеко».
Стало зябко, темно и страшно,
Бился ветер снаружи в окно.
Я лежал, как пустая чашка,
У которой раскоcano дно.
Волглым голосом василиска
Зашипел я, качая рукой:
«Мне спокойней, когда ты близко,
И больнее, когда далеко!»
Разлетелось стекло, как пенки,
Лунный свет — молоком на полу.
Нет тебя, только тень на стенке,
Да и я — пара пятен в углу.

Птица

Однажды ты скажешь: «Уйди, отстань,
Не лезь, не целуй, не трожь!»
Как скальпель, наточена эта грань,
Вспарывает, как кож.
Разрежь мою грудь и рукой достань
Кусок, что трепещет здесь.
Однажды ты скажешь: «Уйди, отстань,
Не трожь, не целуй, не лезь».
И будет находчивым воробей,
У голубя хлеб украв,
А я поутру прорасти в тебе,
Как призрак волшебных трав.
И будет разорвана ткань огня
Ударом стальной воды.
Однажды, решив отыскать меня,
Найдёшь только птицу ты.

Воздушный бой

В момент сближения двух тел
Дрожат светила.
Летела ты, и я летел,
И нас носило
И над землёй, и над водой
Трясло, швыряло,
Но расцепились мы с тобой,
И ты упала,
И рухнул я меж древних скал,
Но не разбитым —
Я выжил, отлежался, встал,
Но был один там.

Женя Маркова

* * *

в месяц давали десять минут
на звонки семье
маленький тёмный офис
телефон на столе

десять
можно делить надвое —
два по пять
или пять по две

голый угрюмый офис
телефон на столе

я брала по минуте
десять раз каждый месяц
в октябре, ноябре,
декабре, январе
и последний раз в феврале

начиная с марта
по две

говорила:
Привет
Как дела, как погода?

дёргая нитки на рукаве

Деточка
Как ты?
Скучаем

голос уносит в детство
как запах корицы или ванили

У меня хорошо
Солнце, море
И кормят отлично
Обнимаю
Давай, пока

в трубке гудки
время закончилось
разъединили

подпись и дату
вдавливаю в бумажную мякоть

главное
продержаться минуту
и раньше времени
не заплакать

не хватает

в пачке бумаг
всегда не хватает одной бумажки
чтобы дали
вид на жительство
ссуду
или пожизненную амнистию

нарисуй мне удава
пожирающего барашка
и лети на очередную
мега-важную миссию

в баре
не хватает последней текилы

чтобы забыть как бездарно
прошляпил вечер
а по сути
гораздо больше

нарисуй мне огромный плакат
«НА МОРЕ!
НАКРЫЛО».
и отправь автостопом на север
в направлении Польши

а на пляже не хватит
одного лишь заплыва
чтобы расправились жабры
и стал Ихтиандром
на ужас туристам

нарисуй мне розу и ящик
где поместится всё
что я накопила
у тебя на планете так пусто
и очень чисто

по ночам
крутит ноги
не хватает магнезии или кальция

как красавицам везёт на чудовищ?
феноменально

нарисуй мне наколку
где барашек даёт удаву по яйцам

принц не будет взрослеть
принцу и так нормально

не зная не ведая
что угодит этими ножками
по уши
в революционную западню

Николай был надеждой престола
крепок как Тур и кудряв как Лель
крещен в Вознесенской церкви
отец стоял слева
супруга императрица — справа

Николай громко плакал и вырывался
но его все макали в купель
революция учащенно дышала
возле амвона
предвкушая расправу

Ким Ир Сен родился в тихом селе Манкэйдэй
в этот день утонул Титаник
в корейской космологии
нет понятия случай
всем правит судьба

Ким был забавен —
лунолик
и рыхл как сметанник
революция нависала над колыбелью
слизывая капельки пота
с миниатюрного лба

Че Гевара был долгожданным первенцем
гордостью состоятельного отца
когда Че кашлял — проклятая астма —
глаза становились большими
и влажными как у косули

мать не спала ночами
смахивая влажной салфеткой

невидимую пыль с худенького лица
революция — тут как тут —
мацала шейку
намечая отверстие для вражеской пули

НАС ЛЕЧИЛИ

нас лечили учили запирали внушали
нам хотели помочь но в итоге мешали
нас лечили Малаховым и Кашпиrowsким
нам бросали объёдки обмылки обноски

нас лечили бездарно бездумно жестоко
трепанацией мысли ударами тока
расчленением чести ампутацией веры
мы — сироты рабочих
мы — пионеры

мы ходили колонной кричали речёвки
мы играли в Зарницу в походе с ночёвкой
нас лечили Дзержинским и Маратом Казеем
нас учили быть жёстче сильнее и злее

ненавидеть врагов отщепенцев буржуев
кто не с нами вперед тот предатель и жулик
ни шагу назад ни шагу не в ногу
мы в царство разрухи проложим дорогу

кто не с нами тот против могучей идеи
тот плюёт на дедов что в окопах сидели
тот возможно еврей или даже похуже
про таких мы слышали мы с такими не дружим
нас лечили Гагариным и Терешковой
обещали как минимум Марс после школы
нам уже не отлипнуть от этой планеты
но по старой привычке скафандры надеты
но по старой привычке задраены люки
это классика жанра коллективные глюки

иногда вдруг покажется что отпустило
а потом как накроет с новою силой
миллионы бесправных безвольных безглазых
не ходите к нам в гости
лечение заразно



* * *

одним рукавом взмахнёшь —
возникнут
горы немытой посуды
другим рукавом —
грязные орущие дети
если спросят:
«Что в такой ситуации думал Будда,
говорил Заратустра?»
закати глаза
замри и ложись на ветер

покачайся на лёгком кухонном бризе
перепрыгни в спальню
на грудь пассата
главное в мужчине
душа
и сильные руки
даже если они немного из жопы
в наколках
и волосаты

он взмахнёт рукавом —
и муссоны растреплют шторы
принесут долгожданную свежесть
невесть откуда
точка сборки
сольётся с точкой твоей опоры

он взмахнет другим —
и вильнет хвостом запечённая барракуда

лёд в бокалах звенит
тонкой песней шальных русалок
заколю гиацинт в проборе
под Фриду Кало

на закате затихнет ветер
обнимет нежно
и положит
спокойным штилем
под одеяло

* * *

когда было слишком грустно
мы пили и танцевали
и небо кружилось в вальсе
и месяц плясал гопак
 когда было слишком мирно
 мы пили и воевали
 горланили сквозь обиду
 и дулись за просто так
когда было слишком скучно
мы пили пока не вставит
и долго плелись зигзагом
пугая ночных котов
 когда было слишком страшно
 мы пили и не боялись
 ни гибельных Рубиконов
 ни выжженных в пыль мостов
теперь мы не пьем не курим
не ходим по душным клубам
следим за здоровьем чутко
и каждый гуглим симптом
 теперь когда скучно грустно
 обидно и очень страшно
 мы громко вдыхаем воздух
 и выдыхаем ртом

я не умру

я не умру
пока ты не начнёшь ходить
смеяться моим шутками
целовать меня в ухо

пока не достанешь до умывальника
полки с конфетами
вешалки
без табурета

я знаю
человек строит планы
а Бог листает френдленту
смеётся глухо
сжимая в ладони звезду
как эспандер
осушает залпом бокал
тушит едва початую сигарету

я не умру
пока не нарисуешь наш дом
меня на диване
папу на кухне с таксой и ноутбуком

пока не сосчитаешь до ста
миллиона
миллиарда
не выучишь три алфавита

я знаю
человек строит планы
а Бог пожимает плечами
хотели мол кока а съели Кука
справедливости нет
есть конец и начало
dolce morte и *dolce vita*

я не умру
пока не заварю чай с имбирём
когда меня срубят простуда

пока не возьмёшь поносить
моё лучшее чёрное платье
и туфли на шпильке

я знаю
человек строит планы
ходит в храм синагогу мечеть
бьёт челом в ожидании чуда
а Бог никуда не идёт
сидит и рыдает взахлёб
над томиком Рильке

я не умру
пока не излечу твоё разбитое сердце
не покажу тебе Монако и Канны

пока не научу быть терпеливой и мудрой
огражу от всех бед
и от всех невзгод

я знаю
я не умру
ни за что
какие бы Бог ни строил планы

пока ты будешь звонить мне
вечером после работы
каждый день

раз в неделю
 раз в месяц
 два раза в год

Полина Барскова (США)

Памяти Олега Юрьева

Есть точка зрения, что после смерти идёт молчание, что масштаб этого события таков, что мы, смертные, не должны сметь с ним тягаться.

Ушедший от нас 5 июля 2018 года литератор Олег Юрьев посвятил свою работу оспариванию этой точки зрения. Слово «зияние», значимое в его словаре, было его личным неприятелем, раздражителем, причиной быть.

В своей критической прозе Юрьев занимался именно надзором над тем, чтобы немота истории, которую мы называем советской, не застала нам глаза, не скрыла от нас тех, без кого народ русского модернизма неполный: под его защитой оказались Леонид Добычин и Павел Зальцман, Олег Григорьев и Андрей Егунов. Мощный танкомонстр канона, одобренного малолюбопытным и малотерпеливым читателем, постоянно пытается отторгнуть от себя тех, кто ему не по зубам, кто ему странен, чужд.

Именно с ними, за них стоял Юрьев в своих страстных, полных иронии и сочувствия эссе. Вообще, когда Юрьев говорил о своих «подопечных», в его голосе не было тишины, не было покоя, не было уверенности: это был нервный голос горя о судьбе и творчестве литератора под пыткой, в частности, под пыткой забвения.

Никто до него не написал, скажем, о Добычине с такой скандальной непримиримостью: Юрьев вообще отказал смерти в победе над тем, у кого не было ничего, кроме стиля.

Юрьев был историком литературы, эссеистом, покровителем и арбитром изящных искусств, романистом, однако всё это во вторую очередь.

В первую очередь, 5 июля 2018 года из русской поэзии был вычтен, в ней был прерван один из самых смелых поэтов нашего времени. Его смелость заключалась в умении, как это

переформулировал за Шекспира Пастернак, быть верным самому себе. Юрьев считал, что задача стихотворения — сопротивляться смерти, любой, всякой, в частности, смерти традиции. Его интересовала традиция петербургского стиха: стиха-высочки, стиха-(за)знайки, стиха, умеющего быть одновременно и Нарциссом, и Эхо.

Он шёл вслед за Анненским, Мандельштамом и Г. Ивановым, Вагиновым и Егуновым, Еленой Шварц и Александром Мироновым. Это было задачей Юрьева — идти вслед, так чтобы следы не поблёкли окончательно.

Перед нами, у нас, нам остались его стихи, его следы.

Стихи невероятного формального блеска и мастерства, стихи горя, стихи нелегкомыслия: они мерцают, как крошки, в лесу, в котором мы, его читатели, остались сейчас бродить, кажется, что без смысла.

Однако, путь сохранён им для нас: можно читать эти невероятные светящиеся звучащие скопления звуков, трогать их губами: надежды нет, но и смерти нет тоже. 

Олег Юрьев

* * *

О медленном золоте нашего дня
поёт на чугунном углу западня
и наголо колосом зреет,
который качается в утренней мгле,
где голые тени стоят на игле
и наглое олово реет.
Когда мы выходим за бледный порог,
лежит на земле поколений творог
уже растолчённый и сжатый
и плачет вагоновожатый,
в сухой порошок заезжая трамвай,
и падает снег-растопыра на май,
и пахнет последнею жатвой.

О родине спелой отпеты не все
шуршащие песни — косцу и косе
ещё величальной не ныли.
Когда мы вступаем в рассветную мглу,
грохочет трамвай, как гранат, на углу,
и в заднем вагоне не мы ли?
С холодной копейкой стоять под копьём
наклонным, обёрнутым ветра тряпьём,
среди заснежённого мая
была нам дорога прямая —
но, видимо, вырвал страницу писец
из книги небесной, и вздрогнул косец,
рывками косу поднимая.

2003

Михаил Румер-Зараев

Всевышний знает

— Ну, давай, выкладывай, — сказал моэль, обнаружив достаточно свободное знание русского языка.

Они стояли в полутёмной комнате, укрывавшей их каменными стенами от полдневного иерусалимского жара, падавшего с тусклого белёсого неба, от ветра, приносившего из пустыни зной, пыль, томление и всё, что связано с арабским словом хамсин.

Даня помедлил, несколько ошарашенный этим резким предложением, а потом расстегнул штаны, достав свой сморщенный, словно бы испуганный, ушедший в глубины его старого тела уд.

Моэль осмотрел надрез, оставшийся от усекновения крайней плоти, и кивнул:

— Да-а. Всё правильно. Операция была. Но не по обряду, а надо по обряду. Сейчас сделаем.

— Прямо сейчас? — спросил Даня.

— А чего откладывать.

Моэль опустил лезвие в склянку со спиртом, ухватил член крепкими пальцами, рассёк кожу в месте надреза, выдавил каплю крови, посыпал ранку каким-то порошком и пробормотал что-то на иврите.

— Всё.

— Всё? — переспросил Даня, морщась от чувствительной-таки боли.

— Всё.

— А документ?

— Какой тебе документ? Всевышний знает.

Он надел чёрный спортуk на белый талит-катан со свисающими кисточками, огладил бороду, сверкнув маслянисто-чёрными глазами.

— Вот вам на ваше дело, — сказал Даня, как учил его

Юра, протянув стошечельную бумажку. Моэль привычным жестом сунул её в карман.

Они вышли во дворик, ограждённый белыми стенами из тёплого местного камня, где их ждал Юра.

— Готово? — весело спросил он. — Ну, и вот, а ты боялась, даже юбка не помялась. Мазл тов. Поздравляю. Спасибо, рабби.

Они пожали руку моэлю и начали осторожно спускаться по узкой лестнице в уличный проезд, где их ждала машина.

— Теперь ты настоящий еврей. А я твой крёстный отец. Надо отметить это. Поехали.

И они покатали по узким, петляющим по склонам горы улицам по направлению к тахана мерказит — автовокзалу, где на пыльной многолюдной площади располагалась любимая Юрина харчевня, пропитанная запахами жареной баранины, чеснока, пота её разноплеменных обитателей. Здесь подавали отличную шаурму — лаваш был пышный, мясо сочное, на столах стоял острый соус-схут — смесь перца, чеснока, помидоров. Всё это можно было запивать купленным в соседнем магазине розовым вином во славу законного приобщения Дани к Авраамову племени.

А началось всё полвека назад в другом мире, другой цивилизации. И ведь было же, было, таилось в дальней глубине Даниной памяти — двор, окаймлённый краснокирпичными стенами, посёлок редких тогда на деревянной московской окраине многоэтажек, спроектированных в конце двадцатых конструктивистским архитектором ради новой жизни рабочих окрестных заводов, и причудливая смесь этих заводов — автомобильного, металлургического, мясокомбината — с монастырями, церквями, старообрядческим кладбищем, заставами Камер-коллежского вала — старой границы Москвы, на одной из которой — некогда Покровской, а потом Абельмановской, и был воздвигнут этот посёлок. Кто такой был Абельман?

Много лет спустя Дания познакомился с московским поэтом, который оказался племянником этого Абельмана, правда, сменившим свою родовую фамилию. И выстроилась це-

почка рода — бакинский инженер, управляющий нефтяным промыслом, статский советник Самуил Абельман, его сын Николай, руководитель большевиков Коврова, приехавший в восемнадцатом году в Москву на съезд Советов и убитый левыми эсерами во время июльского их мятежа как раз на Покровской заставе за то, что оказал сопротивление при отъёме его машины, затем его внук — поэт-шестидесятник, затем сын поэта — диссидент и социал-демократ девяностых годов... Господи помилуй, чего только не навернулось на эту фамилию за век, с тем, чтобы остаться в названии окраинной московской площади, на которой прошло детство Дани.

Жизнь во дворе шла жёсткая и яркая, всплывая в Даниной памяти ликами, образами, голосами. То вдруг всплывёт жёлтое скопческое лицо старика за забором глухого деревянного дома, который стоял на окраине поселка, среди переулков со странными названиями — Кухтинский, Брошевский. Дом влачил за собой историю купеческого усадебного владения, а старика называли купцом.

От дома купца ко дворам поселка шла помойка, куда Даня вместе с дружкой Вовкой уходил курить уворованные у Вовкиной матери папиросы «Прибой» — тонкие, туго набитые «гвоздики», плохо и чадно курившиеся. «Прибой» находился в самом низу табачной иерархии того времени. Люди посolidнее, чем Вовкина мать, курили «Беломор». Начальники же, те, кто зимой ходил в кожаном пальто на меху и в генеральских фетровых бурках с отворотами, постукивали длинным мундштуком папиросы по коробке «Казбека» с летящим на коне всадником в бурке, прежде чем затянуться сладким и мягким дымом власти. Была ещё легенда о «Герцеговине Флор», которые курил товарищ Сталин, ломая папиросы и набивая табаком трубку, что была неотделима от его образа. Даня, уже будучи взрослым человеком, как-то купил зеленоватую коробку этих легендарных папирос, не найдя в них ничего особенного, «Казбек» был не хуже.

Впрочем, в эти его взрослые времена больше шла уже сигаретная иерархия — «Памир» — крепкий чёрный табак для тех, кто попроще, кто толпился утром у пивной с перепоя; красные пачки «Примы» — с табаком послабее, получше; сигареты «Друг»

с собачьей головой на коробке, охотно куримые начальниками, болгарская «Шипка», излюбленная средним слоем «Ява». А потом, ещё потом теневые богачи и большие начальники раскуривали «Мальборо» да «Кент» с «Честерфильдом», покупаемые на чёрном рынке и в правительственных распределителях. И Дания, привлекаемый из своего института экономики в ЦК для написания правительственных справок, иногда достаивался в тамошнем буфете блока «Мальборо».

Вона как далеко мы ушли от помойки и двух мальчишек, куривших там до тошноты вонючие «гвоздики». Помойка была ужасна — мусор вываливался из редко опорожняемых баков, усеивая окрестную землю кучами гнили, собачьего и человеческого кала, консервными банками, обрывками бумаги.

Но и здесь не уйти от переключки с делами Даниной взрослой жизни, когда он, занимаясь исторической социологией, написал исследование трансформации сельского и городского быта, отражённой в системе семейных отходов. В деревне века девятнадцатого такого понятия, как помойка, писал он, в сущности, не было, как не было отхожего места в нынешнем нашем понимании. Все отходы человеческого тела, как и животных, удобряли землю. Стекло было бережно хранимой и многократно используемой ценностью — бутылка для керосина, для самогона... Бумаги не имелось и в помине, как и консервных банок. Всё это стало появляться по мере урбанизации жизни, и окраина Даниного двора, усеянного вонючим мусором, была тому явным свидетельством.

Много ещё помнилось из того времени. «Воронок», медленно врывающийся во двор и увозящий свою тюремную жатву; тяжёлая поступь отцов семейств, понуро возвращающихся с заводов домой к борщу, жареной на подсолнечном масле картошке, чекушке, а потом к доминошному столу; мокрое от слёз лицо женщины, которую гнал через двор, хлеща солдатским ремнем, муж, застав её с любовником, гнал под улюлюканье доминошников: «Так ей, суке, и надо». И распаренное гневом лицо мужа, оскал его зубов, хлесткий свист ремня.

Секс пропитывал двор, матерщинный, неутомимый солдатский секс, и весь фольклор городской окраины, всё то, что

распевалось и декламировалось в подворотнях, на школьных переменах, на пыльных чердаках, настаивалось на весёлой похабщине, как водка на лимонных корочках. И ведь хранит Данина память эти песни, баллады, целые срамные поэмы, идущие от традиции Луки Мудищева. Много чего забыто важного, нужного, а это помнится.

Вот поэма о Садко, богатом госте, который, собираясь на дно морское, берёт с собой «гондонов дюжину и книгу Мопассан». Именно так и пелось — не Мопассана, а «Мопассан», как название.

Бедный французский классик, бедный Ги де Мопассан, мог ли он вообразить в своей бурной и безумной жизни, что когда-нибудь на московской городской окраине его книги, впрочем, особенно никем не читанные ввиду трудности восприятия, станут воплощением Эроса. «Ты читал Мопассана? Нет? Говорят, клёво».

А какие изыски были филологические.

Ранним воскресным утром, когда двор ещё спит и майское солнце только начинает золотить кирпичные стены, выскакивает на середину белобрысый, наголо стриженный пацанёнок по прозвищу Польша и, запрокинув к небу лицо, заполошно кричит.

В магазине Кнопка выставлена ж...

А что? Ничего. Жёлтые ботинки.

Мир его безумен и радостен. Вопль уходит к небу.

Как у тётки Нади, все девчонки бля...

А что? Ничего. Бляхами торгуют.

Экий поэтический обрыв слова: «жо...», «бля...», какое игриво-кокетливое — «А что? Ничего»

Как у дяди Луя, потекло из х...

А что — ничего. Из худой кастрюли.

В четырнадцать лет у Дани потекло из х... Только представьте себе ужас одинокого интеллигентного мальчика, у которого вдруг опухла головка члена, и из неё стала сочиться какая-то жидкость. Кому повею печаль мою? Матери? Нет, ни за что. Друзьям по школьному литературному кружку? А чем они

могли ему помочь? Кому? И он, мучительно робея, отправился в детскую поликлинику, куда был приписан по своему возрасту.

Поликлиника носила имя никому не ведомого Жевлюка (так и говорили: «Надо сводить ребенка к Жевлюку») и располагалась неподалёку от старообрядческого кладбища в двухэтажном деревянном доме со скрипучими ветхими полами.

Молоденькая врачиха, несколько смущаясь великовозрастности пациента и непривычности ситуации, озадаченно осмотрела Данин член и выписала направление к урологу, во взрослую поликлинику.

— Ну что, парень, — сказал уролог, долговязый хмельной старик в испятнанном белом халате, завязанном тесёмками на его худой сутулой спине. — Может, ты с какой девчоночкой грех имел... Ну-ну, не красней, вижу, вижу — девственник. Сейчас мы тебе промоем, продезинфицируем твоё мужское достоинство, а потом дам тебе направление на операцию в институт Короленко. Знаешь, кто такой Короленко? Правильно, Владимир Галактионович. Я вижу, ты парень начитанный. Но институт этот совсем из другой области, он от литературы далёк. Там лечат кожные и венерические заболевания. И почему ему дали имя писателя, я тебе сказать не могу. У нас каких чудес не бывает. Но только все московские проститутки, поругавшись, угрожают друг другу: «Погоди, сука, попадешь к Короленке...»

Несмотря на мучительность продельваемых над ним, а вернее над его членом, операций — жгучих промываний и попыток обнажить головку, несмотря на всю обстановку этой пыточной камеры с её шприцами, катеторами, клеёнчатым лежаком, Дания вообразил окладистую бороду, серьёзный добрый взгляд писателя и разделил удивление своего мучителя.

А тот меж тем продолжал.

— Ты ведь еврей...

— Мама еврейка, — прошептал Дания, признаваясь в этом своём грехе.

— А отец, стало быть, русский. Ну всё равно, у вас, евреев, национальность по матери считается, раз мать еврейка, значит, и ты еврей, а отец... Тут дело тёмное, не докажешь. Так я к чему, у вас ведь, у евреев, недаром обрезание делают, впрочем,

как и у мусульман. И если бы тебе твоя мамка на восьмой день отчекрыжила крайнюю плоть, вот эту вот кожу, которая у тебя, сужена, и головку никак не откроешь, так ничего бы и не было. А теперь, видишь ты, нагноилось там, всякая дрянь накопилась, и всё это называется фимоз, сужение крайней плоти. Понял ты? Фимоз, фимоз, хватя тебя за нос.

Вот тебе направление, поезжай ка ты, браток, в Сокольники, к Короленке, там тебе всё сделают.

И Даня, зажав в потной руке бланк с направлением, побрёл к трамвайной остановке, где громыхающий звенящий вагон увозил его этого пытошного кабинета, от старика в грязном халате, словно бы олицетворяющем всю изнанку окружающей его греховной жизни, которую с трудом вмещало Данино отроческое сознание, — пьяный блуд в потных простынях, где рядом с родителями спят дети, измены на чердаках и в подворотнях, любовную неутомимость, мужское хвастовство, истеричный женский мат. И всё это невидимо вливалось и пенилось в кабинете, где царил полупьяный старик со шприцем, полным розовой марганцовки.

Лейся, лейся марганцовка,

Ты прекрасна как рассвет.

Раз — спринцовка, два — спринцовка.

Гонококков больше нет.

Палата была большая, человек на десять-пятнадцать. Койки стояли вплитык, так что оставался между ними лишь узкий проход. Разновозрастные мужики в байковых пижамах, в распахнутых на груди халатах населяли это пространство, в высокие окна которого виднелась улица, носившая так же, как и больница, имя всё того же Короленко.

Годы спустя Даня с его обострённым интересом к истории допытывался, почему старик Галактионыч был так любезен этому кожно-венерологическому заведению, расположенному в здании бывшего приюта для неизлечимо больных, построенного известным благотворителем купеческого звания Флором Яковлевичем Ермаковым, отчего и улица до революции носила название Ермаковской. И как было не называть так улицу, когда

этот благотворитель, продав ситценабивную фабрику, все свои миллионы вкладывал в устройство богаделен, храмов, монастырей, ежедневно кормил бесплатными обедами до тысячи нищих и бездомных. Вот такой это был христов человек, Флор Яковлевич Ермаков. Нет, переименовали-таки улицу в 25-м году. А почему назвали именем Короленко с его вызовом, брошенным советской власти в письмах к Луначарскому? Да и Ленин писал о нём с яростью и сарказмом — «жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками... таким «талантам» не грех посидеть недельку в тюрьме». И всё-таки назвали, может, потому и присобачили венерической больнице его имя как бы в насмешку, в отместку? А, впрочем, вряд ли поэтому. Скорее всего, просто так, по дурости. Ведь назвали же психиатрический диспансер именем Кагановича, который тогда был «вождём московских большевиков». Или ещё пуще того — с каким-то inferнальным, хотя, возможно, и неосознаваемым юмором назвали металлургический комбинат именем Сергея Лазо, того самого вождя дальневосточных большевиков, которого по легенде японцы живьём сожгли в паровозной топке. Да к тому же в семидесятые годы этот паровоз — отреставрированный, чисто выкрашенный — установили как памятник на станции Уссурийск, как бы подтверждая легенду.

Но не до такого рода топонимических изысканий было Дане, когда он в смущении остановился в дверях больничной палаты. — И ты сюда, пацан, — сказал опирающийся на костыль долговязый одноногий человек, прерывая оживлённый рассказ. — И когда же ты успел подцепить веселую болезнь?

— Да ладно тебе, — остановил его сорокалетний, крестьянского вида мужик с серьёзным и добрым взглядом. — Какая там веселая болезнь? Фимоз, наверное. Да? Ну не тушуйся, иди сюда, вот твоя койка, соседями будем.

На следующий день, утром немолодая медсестра безучастно повела Даню в операционную, где он поступил в распоряжение пышнотелой молодой врачихи по имени Лия Львовна. Она-то и колдовала над его членом под наблюдением седовласого профессора, будучи его ассистенткой. Вся операция отняла около часа, включая местный наркоз, который не очень-

то действовал, так как боль Даня чувствовал — острую, режущую. Да и потом болело, когда он, лежа на койке, выставил из-под пижамы забинтованный член с отверстием в бинтах для малой нужды. Её предстояло справлять через стеклянную трубочку.

В его обонятельной памяти жил запах той палаты, где смешивались ароматы хлорки, человеческих испарений, прогорклой еды и бог знает чего ещё, что наполняло тогда воздух российских больниц. Он ощущал этот запах и видел себя четырнадцатилетнего, лежащим на койке и страдающим от боли и унижения, которое приносила ему сама эта диковинная болезнь. Он видел того одноногого, долговязого, чёрнокурчавого мужика, так весело среагировавшего на Данино появление. Опираясь на костыль и прикусив губу, он азартно рассказывал и показывал, как он её — и так, и эдак, и в таких, и в эдаких позах... И палата снисходительно посмеивалась, не прерывая этот, видимо, знакомый ей рассказ.

Тема «как я её» была здесь постоянной наряду с проклятьями по поводу той суки, которая наградила болезнью и которую убить мало. Молодой сапожник со смазливym наглым лицом, одетый в розовую байковую пижаму, придя после процедуры, бегал по палате, зажав руки между ног и бормоча: «Ах, сука, ах, б...». Связь между жгучей болью, которую причиняла ему дезинфицирующая жидкость, закачанная в его мочеиспускательный канал, и образом той, которая считалась причиной этой муки, была для него очевидной.

Многие получили свою болезнь на исходе войны, рассказы о которой приводили Даню в ужас. Он никак не мог совместить облик добродушных и благожелательно к нему относившихся людей, чаще всего заводских рабочих, с тем, как они спокойно и весело рассказывали о насилии немок.

Насиловали взводами, распиная несчастных женщин порой прямо на обочине дороги, насиловали всех, кто ни встретился — от четырнадцати до пятидесяти, иногда потом убивали или загоняли бутылку между ног.

— Послушай, — говорил Даня сорокалетнему благообразному работяге, рассказывавшему, как они, просидев полгода

в окопах и пойдя в наступление, нагнали обоз беженцев, и он с разбегу заскочил в кузов грузовика и прямо среди перин, чемоданов, тряпья изнасиловал перепуганную старуху. — Послушай, — говорил ему четырнадцатилетний Даня. — Ну ты же нормальный человек, у тебя дочь, жена, мать... Как ты мож?

— Ты ещё пацан, — усмехался работяга. — Причём тут жена, дочь. Посиди-ка полгода в окопах, не видя бабы, тут козу затрахаешь.

Он же ещё и наставлял Даню, как ему по-мужски вести себя с девочкой.

— Ты, как выйдешь отсюда, и всё у тебя там заживёт, ты какую-нибудь девчоночку хватай и в кусты её, что ли, или куда-нибудь, где никого. И вали её, вали. Она верещать будет, брыкаться, но ты не обращай внимания, это она так, положено ей. Ты заваливай её и делай своё дело.

Это была своего рода памятка молодого насильника, урок, преподаваемый с отеческой заботой.

Выйдя из больницы, Даня делился своими новыми впечатлениями с друзьями по литературному кружку, доверив им тайну своей операции, ранее представляемой как глазная. Но весь ужас услышанного как-то не доходил до них, а вот подмена глаза членом умиляла, и с тех пор в их юношеский фольклор вошёл этот эвфемизм. Став студентами и поступив в вуз, они писали Дане с практики веселые стихи.

О, как оно от нас далёко,
Как далеко оно от нас.
Твоё пленительное око,
Твой нежный близорукий глаз.

Отец одного из них был генералом, начальником тыла фронта во время войны. И часто бывая в этом доме, Даня, уже взрослым человеком, решил расспросить хозяина о насилиях в Германии. Генерал задумался, видимо, взвешивая, стоит ли говорить откровенно, испытующе взглянул на Даню и ответил со вздохом: «Да, было, особенно в первые дни после вступления на территорию противника. Но вот, например, на Первом Украинском в Силезии по приказу Конева расстреляли перед строем сорок человек, и как рукой сняло — ни изнасилований,

ни убийств мирного населения. А у Черняховского на Третьем Белорусском при вхождении в Восточную Пруссию чёрт-те что творилось. Правда, сам-то Иван Данилович перед штурмом Кёнигсберга был убит, может, он и принял бы меры...

Всё это говорилось за столом, на котором стоял немецкий сервиз чеканного серебра, а на стенах висели персидские ковры, вывезенные из Германии. Генерал был стар, грустен, угнетён болезнями, жить ему оставалось недолго, но награбленных богатств хватало не только его детям, но и внукам, в трудную минуту продававшим очередной антикварный предмет.

И опять же годы спустя, когда Дания жил в Берлине, Зара лежала в больнице с двумя старухами в одной палате. Оказалось, что обе были в девичестве изнасилованы русскими солдатами. Они не проявляли к Заре никакой враждебности, и об этом эпизоде их юности вспоминали спокойно, как о реальности, которой избежать было нельзя.

В той палате на улице Короленко один лишь сосед Дани Василий, так приветливо встретивший его в первый день, никогда не упоминал о войне, хотя, судя по его возрасту, она не должна была его миновать.

— А вы воевали? — как-то осторожно спросил его Дания.

— Воевал. Три месяца. Ездовым в артиллерии. Я при лошадях был и до войны в колхозе, вот и в армии оказался ездовым. Люблю я лошадей — чистое, умное животное, ей-богу, иногда мне кажется, что оно умнее человека. Я и теперь в колхозе конюшом. Конюшня как дом родной стала. В конце дня мужики соберутся, махрой подымим, по стаканчику самогона выпьем, и всё о войне... Только мне особенно-то и рассказывать нечего. В сентябре сорок первого в окружение попал, а дальше — лагеря военнопленных. Что это такое, тебе лучше и не знать. Вот тут ребята всё о бабах, как немоч трахали чуть ли не взводами, значит стоял у них. Нам же в наших лагерях не до баб было. Когда у тебя пайка трёхсотграммовая да баланда из брюквы, тут, брат, не до баб, только и мечтаешь, как бы мёрзлой картошки где-нибудь украсть. Как выжил? Это долгая история. Сколько раз доходил, думал: всё, конец. Однажды спасло, что меня к

бауэру послали работать, крестьянину по-ихнему, там малость отъелся, но недолго это моё счастье было — снова шахта да завод. Освободили нас англичане в Оснабрюке, город такой есть в Нижней Саксонии. Правда, свободой это назвать трудно. Попал я на сборный пункт для советских военнопленных в городе Зеедорф. Тоже вроде лагеря, но, конечно, полегче и посытнее, чем у немцев. И к тому же можно было записаться в комендантскую роту, которую англичане формировали из наших пленных. Тут тебе и ружьё, и повязка особая, и в состав английского патруля попадаешь. Конечно, всё это мне было в охотку после трёх с половиной лет плена. И вот тут-то со мной чудо произошло, какого все эти три проклятых года не было, да и не могло быть.

Василий замолчал, опустив голову, как бы собираясь с силами, чтобы рассказать об этом чуде.

— Да что случилось? — нетерпеливо спросил Дания.

— А то случилось, что я вместе со своим напарником, таким же русским мужиком, пленил самого Гимmlера. Да ты не поверишь, наверное. Многие не верят. Я уж теперь и рассказывать об этом перестал.

— Расскажи, поверю, — попросил Дания.

— Ну, так вот как было дело. Назначили нас вместе с напарником моим Иваном в английский патруль дороги патрулировать в район деревни Майнштадт. Приехали мы в этот Майнштадт на машине, расположились в доме побогаче, и я так понял, что этим английским парням не очень-то хотелось по дорогам таскаться. Я и спросил у старшего, капрал он был по званию, Моррис его фамилия, как, мол, патрулировать будем. А он: «Сами ходите, а в час приходите — покормим».

— Как же вы с ним объяснялись? — спросил Дания.

— Как, как... Знаками, ну, пару-то слов по-английски и по-немецки знали. Нужда заставит, что хочешь выучишь. Ну, ладно. В тринадцать часов пришли в деревню, покушали вместе с англичанами и снова ушли в патруль. А в конце дня снова вернулись в деревню, узнать, когда поедем в лагерь. Моррис показывает: через час, можете, мол, пока отдыхать, а сам ушёл в дом пить кофе. Нас же не пригласил, ну, мы, поджав брюхо, и

поплелись на окраину деревни, чтобы не мозолить глаза англичанам, раз не зовут кушать. И вот замечаем мы, как из-за кустов на просёлок вышли трое немцев и направились в сторону леса. Кричим: «Хальт!» Они себе идут да идут. Снова кричим «Хальт!», даём предупредительный выстрел. Те остановились. Мы — «Кто такие? Аусвайсы давайте». Документы нам показались подозрительными — без штампов и печатей. Повели в деревню. Англичанам они сказали, что идут из госпиталя. У одного — больная нога, у другого — глаз. Да, видно, Моррису не хотелось возиться с ними в конце дня. Махнул рукой: пусть идут. Но мы с Иваном упёрлись: «Как идут? Надо их в лагерь везти, проверить, кто такие, почему прятались в кустах?» Англичанам, видно, всё равно было, но раз мы упёрлись, посадили их в машину и отвезли в лагерь. А дня через три во время построения к нам подошёл английский офицер с переводчиком: «Вы задержали 21-го трёх немцев?» — «Мы». — «А вы хоть знаете, кого задержали?» — «Откуда ж нам знать?» — «Вы задержали первого помощника Гитлера — Гимmlера».

— Наградили вас? — спросил Даня.

— А как же, — улыбнулся Василий. — По пакету продовольственному от Красного Креста дали. Съели мы сразу же всё, что там было, за милую душу. Вот и вся награда. Потом ещё в СМЕРШе нас допрашивали по этому поводу, и мы уж думали, что награда нам будет лагерная, лет эдак на пять. Да обошлось.

Эта последняя деталь — продовольственный пакет как награда за поимку Гимmlера — почему-то убеждала Даню в правдивости рассказа соседа, когда он впоследствии вспоминал эту историю. Он помнил молодой своей памятью множество фантастических баек о военных приключениях, которые можно было услышать во всяких мужских толковищах — в банях, пивных и в других местах, благорасполагающих к игре воображения. Кто-то дрался на дуэли с американским офицером, отстаивая честь русского оружия, кто-то поймал шпиона на дальнем севере и вёз его под дулом пистолета через всю страну, кто-то первым ворвался в кабинет Гитлера в рейхсканцелярии и вертел огромный глобус, по которому фюрер намечал свои военные операции, наконец, кто-то загадычно дружил с семнад-

патилетным румынским королём Михаем — отличным весёлым парнем.

И так и виделось Дане во взрослых его поездках по деревням, как где-нибудь на колхозной конюшне или машинном дворе, на брёвнышках или в другом укромном месте, где мужики распивают бутылку, тот же Василий, приняв стакан самогона, начинал: «А вот расскажу я вам, братцы, как я Гиммлера задержал...» — «Да ладно тебе брехать».

Но уже в конце восьмидесятых, когда стали открываться замкнутые до той поры архивы, он вычитал совпадающую с рассказом Василия и строго документированную историю задержания Гиммлера. Сохранились протоколы допроса двух русских солдат, направленные наркомунгобезопасности Абакумову. Сначала было хотели представить Василия с Иваном к правительственной награде. А потом спохватились: они ж военнопленные, им ещё фильтрационный лагерь проходить. Обойдутся. И верно, обошлись, да ещё радовались, что не посадили — ведь в плену были.

Своими короленковскими воспоминаниями Даня делился полвека спустя с сыном, который уже в достаточно зрелом возрасте решил сделать себе обрезание. В Берлине, где они жили к тому времени, набралось ещё четверо таких же русскоязычных молодых евреев, ощутивших в себе голос крови и окунувшихся в иудаизм, в веру со всеми присущими ей обрядами и образом жизни. Набившись в «Мерседес» одного из них и захватив свои лэптопы, айфоны и прочую навороченную компьютерную технику, без которой современный молодой человек и шагу не делает, они отправились в Вену. Именно туда должен был прилететь из США знаменитый хасидский моэль, специализирующийся на обрезании взрослых, что, оказывается, несколько сложнее, чем откусить крайнюю плоть у младенца.

Моэль был облачён в средневековое хасидское одеяние — меховая шапка-штрайм, какой-то то ли халат, то ли кафтан, из-под которого виднелись белые чулки. Но, несмотря на такой опереточный костюм, дело своё он знал здорово, ибо во время операции да и после неё сын не испытывал ни малейшей

боли. Работал мозель весело и легко, с шутками на хорошем английском языке («ну вот, полдела сделал, можно и уходить...»), что, по мнению сына, было признаком профессионализма. Ну уж а после завершения операции, проходившей в синагоге в канун субботы, там началось классическое хасидское веселье с танцами, прихлопами, общей трапезой и поздравлениями, ибо обрезание, означавшее заключение завета с Богом, должно вызывать у каждого еврея радость и благоговение.

Всё это происходило не где-нибудь в иерусалимском квартале Меа-Шерим, а в венском Леопольдштадте, где Иоганн Штраус сочинял свой вальс «На голубом Дунае» и где молодой художник, зарабатывавший себе на жизнь рисованием открыток в венских кафе, некогда вынашивал в себе ненависть к племени, которое, по его словам, можно считать расой, но только нечеловеческой расой.

Вернувшись в Берлин, сын несколько смущённо обратился к Дане с просьбой.

— Теперь и тебе надо бы сделать это.

— Как это? — удивился Даня. — У меня всё сделано пятьдесят лет назад.

— Нет-нет, ты не знаешь. Хирургическая операция по поводу фимоза не в счёт. Для того, чтобы она считалась обрезанием, какой-либо благочестивый еврей, а ещё лучше мозель, должен сделать небольшой надрез там, где было отрезано, выдавить каплю крови и прочитать молитву.

— Где ж я тебе возьму такого благочестивого еврея?

— Так ты ведь ездил в Израиль, и этот твой приятель Юра там в иешиве работает. Он тебе всё устроит. Для него это благое дело — мицва. Ну, мы с мамой тебя очень просим.

Как тут было отказать семье в капле крови?

— Только ты не забудь там и документ взять, — добавил сын.

На самом деле этот разговор о крови был глубже и сложнее, чем могло показаться на первый взгляд, и просьба о документе, удостоверяющем, что Даня всё-таки сделал себе настоящее обрезание, стала не случайной. Зара была еврейкой по отцу и полькой по матери, Даня — русским по отцу и евреем

по матери. Все эти потоки крови смешались в их тридцатилетнем отпрыске, этом берлинском компьютерщике, и победила та струя, которая по выражению Тувима так бурно и долго изливалась из жил еврейских предков, бросив сына в лоно иудаизма, заставив проходить гиюр, делать обрезание, собирать всякие метрические свидетельства. Крутятся в этом вихре бюрократических и религиозных требований, раздражавших и его самого, и, конечно же, Даню, с печальной иронией повторявшего фразу из старого анекдота: «Жида проклятые, слона замучили», — сын, тем не менее, для перестраховки просил отца об этом странном документе. Но иерусалимский мозоль был категоричен: «Всевышний знает», — сказал он, строго указав пальцем в потолок.

Всевышний много чего знал о странном бытии Дани, превратившегося на старости лет из преуспевающего московского учёного, специалиста по экономике сельского хозяйства в экономического советника некоего российского олигарха, который вёл дела самого разного рода, вкладывая свои капиталы, в том числе, в аграрное производство России, Украины и даже Израиля.

Поручения, которые давались Дане, были не только инвестиционно-исследовательского свойства. В Берлине, например, ему пришлось создать и редактировать русскоязычный иудейский религиозно-философский журнал, авторы и читатели которого были рассеяны по всему мировому еврейскому пространству — Америке, России, Израилю. При этом Дания весьма расширил свои знания иудаики, которые раньше у него имелись, но не очень глубокие. Журнал был мицвой хозяина, озабоченного религиозным просвещением своих бывших соотечественников, где бы они не находились.

В результате жизнь Дани отличалась географической причудливостью. Страдая старческой бессонницей, он иногда просыпался на рассвете, не понимая, где находится, в московской ли своей старой квартире, где его будили крики пьяных бомжей, в берлинской — под звук колоколов соседней кирхи или в восточном Иерусалиме, под крик муэдзина. Он

жил в переплетении культур, верований, географических поясов. И в этом кочевом существовании, которое Даня вёл в возрасте, когда можно было довольствоваться сидением перед телевизором или прогулками в парке, была своя прелесть. Он острее ощущал открывавшиеся перед ним миры и в том числе мир того летнего иерусалимского дня с его хамсином и розовым вином, распиваемым в привокзальной харчевне вместе с Юрой, этим обрётённым им «крестным отцом».

Будучи физиком в своей московской жизни, Юра нашёл себе в Израиле странное занятие. Даня называл его делателем евреев. Он ездил по еврейским общинам постсоветского пространства, предлагая национально настроенным молодым людям годичное пребывание в иерусалимской иешиве. За год они должны были получить там религиозное воспитание, освоить библейский и по возможности разговорный иврит, пройти курс национальной истории, впитать в себя обрядовую культуру. После чего они могли остаться в Израиле с непременной армейской службой или вернуться домой и вести предназначенную им российскую жизнь, превратившись, однако, в религиозно образованных евреев. Всё было бесплатно — дорога, пребывание в общежитии, питание, учёба и экскурсии по стране. Всё за счёт заведения, которое вообще-то было обычной иешивой — религиозной школой, подготавливающей к смихе — экзамену на звание раввина, но взявшей на себя за счёт государства и спонсоров ещё и такую вот функцию по выделке соблюдающих традицию евреев.

Даня не мог понять, удаётся ли такой эксперимент. Он присматривался к этим ребятам во время экскурсии по стране, которая была частью их приобщения к Израилю, видел в них много знакомого, российского и вместе с тем открывал для себя новое, необычное. Его поражал в них мгновенный переход от молодёжного стеба к серьёзности, словно бы испытующему всматриванию в себя, в своё будущее. Они изъяснялись на обыкновенном современном сленге — «пацаны», «клёво», — болтали о девчонках со всеми положенными, хотя и незнакомыми Дане шуточками («темнота — друг молодежи, в темноте не видно рожки», «девочка, какая я тебе девочка, я уже дважды была на

семинаре Сохнута»), а потом становились на молитву перед общей трапезой в лесу. И перед тем как жарить мясо, немного выпивать, ивритской скороговоркой, накрывшись таллитами, раскачиваясь, с истовой погружённостью произносили бесконечно древние восточные тексты. Позади у них было обычное российское дворовое детство сродни тому, какое было у Дани на его Абельмановке, но как сформировалось в них национальное чувство, как пробудилось религиозное начало в грязи городского быта, и было ли это начало, или ими двигало стремление увидеть другую жизнь, другую страну?

Ему вспомнился смешной эпизод из конца восьмидесятых, когда он звонил по междугороднему телефону в Тель-Авив и при выходе из кабинки на Центральном телеграфе был остановлен двумя здоровенными, рабочего вида парнями.

— Мужик, ты в Израиль звонил? — спросил один из них.

— А что такое? — настороженно переспросил Дания.

— Да понимаешь... — смущённо пробормотал парень.

— Понимаешь, как бы тебе сказать. Мы хотели тебя спросить... Ну, в общем, как стать евреем?

— Что-о? Зачем это вам?

— Как бы тебе сказать... Ты не подумай чего плохого...

Вот я шофёр, первый класс у меня, слесарь-автомеханик, много чего умею. Мне бы дело своё завести, зарабатывать по-человечески, как в других странах, но разве здесь получится? Вот мы и подумали, может, в Израиль уехать, говорят, евреем можно стать.

Видимо, они слышали о гиоре, но толком не знали, что это такое, подумал Дания.

— Это непросто, ребята.

— Да ты объясни.

— В синагогу надо идти. С раввином советоваться, изучать закон. Обрезание сделать.

При слове «обрезание» они как-то увяли, но всё-таки спросили со смешком.

— И много отрезают?

Эта анекдотическая история вспомнилась Дане, когда он в экскурсионном автобусе разговорился с парнем из Самары, ры-

жеватым, с соломенными ресницами, с типично русской внешностью. После Самары он три года прожил в Москве, учился в иешиве, а теперь здесь и хочет остаться в Израиле, идти в армию, о которой он знает всё. «Здесь не Россия, — говорил он, — армия — это почётно. Я набрал 85 баллов из ста по физическому состоянию. Это довольно высокий балл, так что могу попасть в танкисты или в десантуру».

Он был крайне агрессивен по отношению к арабам: «Эх, мне бы ядерный бомбардировщик и разбомбить бы Мекку, чтобы, наконец, решить вопрос...» В ответ на недоумённый взгляд Дани, улыбнулся, давая понять, что говорит всё-таки не серьёзно. Но когда заговорили об ословских соглашениях, вспыхнул, гневно сунул глаза: «Рабин, этот мерзавец, этот негодяй...»

Даня потом спросил у Юры, не является ли такой агрессивный настрой следствием комплекса неопита, на что получил ответ, что израильское общество сильно поляризовано и, видимо, этот парень усвоил политическое мировоззрение крайне правых, что у выходцев из России, действительно, бывает довольно часто.

Вообще-то всё его существование и в Германии, и в России, и в Израиле зиждилось на хрупкой корке исторических аллюзий, воспоминаний, конфронтаций.

Среди молодых неопитов, с которыми Даня ездил по стране, был пожилой смуглый иудей с хорошей статью и выправкой, обличающей бывшего военного. Ребята обращались к нему на иврите и с некоторым подчёркнутым почтением, что Даня объяснял религиозным саном этого человека, так как он обычно вёл молитву. Порядок трёхразового молитвословия соблюдался во время поездки неукоснительно. Автобус останавливался, где бы их этот час не застигал — на лесной опушке или у придорожной обочины, все становились в круг, в центре которого находился смуглый рав, возглашавший обращение к Господу, повторяемое ребятами глухо, неразборчиво на Данин слух и с положенным раскачиванием.

А заводил их экскурсионный маршрут в места самые разные — то в развалины замка крестоносцев, куда приходилось

карабкаться по козьим тропам, то в лес, посаженный в честь шести миллионов жертв Холокоста, то на смотровую площадку горы, на которой во времена Маккавеев зажигали сигнальный костер, то в пустыню с её огромными жёлтыми склонами, вадами, окаменевшими барханами.

Эти библейские пейзажи, видимо, волновали ребят, ибо они затихали в своей мальчишеской болтовне и безмолвно впитывали в себя причудливый мир страны, которая звала их и ждала. Экскурсоводом у них был московский сионистский диссидент, после своего долгожданного приезда в Израиль освоивший здесь новую для себя говорливую профессию.

Он рассказывал по-русски, но Юра тихонько переводил всё сказанное на иврит, склонившись к уху смуглого иудея.

— Кто этот человек? — спросил Даня.

— Кто этот человек? — с непонятной ехидной улыбкой переспросил Юра. — Хороший вопрос. Я тебе скажу, кто этот человек, только стой, не падай. Этот человек казнил Эйхмана.

— Как это казнил?

— А так. Очень просто. Надел ему петлю на шею и нажал рукоятку люка. Вот так вот, взял и повесил.

— А в иешиве он что делает?

— Ну, видишь ли, у нас же не только молодых русских евреев приобщают к иудаизму, это делается лишь на русскоязычном факультете, где я, так сказать, имею честь трудиться. А в остальном мы являемся институтом иудаизма, высшей талмудической школой, где учатся ивритоязычные люди, причём они могут быть разных возрастов. Так вот этот человек, его зовут Шалом, он, кстати, йеменит, и русский язык от него также далёк, как от тебя арабский, будучи пенсионером, отпахавшим лет тридцать в тюремном ведомстве...

— Надзирателем?

— Был и надзирателем, но потом дорос, по-моему, до замначальника тюрьмы. Так вот, он стал очень религиозным после казни Эйхмана и пришёл к нам в иешиву. Ребята называют его рав, видимо, из-за возраста, но он не раввин, просто изучает Талмуд. Это тебе его история вкратце.

— А если не вкратце?

— А если не вкратце, любознательный ты наш, то здесь

разговор долгий. Я спрошу его, согласен ли он отдельно встретиться с тобой, мне тут, конечно, придётся переводчиком быть, надеюсь, моего иврита хватит.

Встретились после обеда в столовой иешивы. Ребята разошлись по своим делам, и они остались втроем, медленно вытягиваясь в разговор, прихлёбывая чёрный кофе из больших керамических кружек. В разговоре этом откровения йеменита чередовались с комментариями Юры, объяснявшего Дане кое-что непонятное для него в израильской жизни.

Шалом. Да, я повесил его. Как это было? Да очень просто. Нажал на рычаг, тело провалилось в люк, вытянулось, хрустнуло позвонками — и всё. Но по дороге в ад он искалечил мою душу, до сих пор меня мучают кошмары. Всё видится труп, который я вынимал из петли. Лицо белое, глаза открыты, по вывалившемуся изо рта языку, свисающему наружу, стекает кровь — веревка поранила кожу. Ощущение было такое, словно передо мной ангел смерти. Я не знал, что у повешенных остается воздух в животе. Как видно, он что-то бормотал в момент свершения казни, и, когда я приподнял труп, воздух начал выходить, из горла вырвался кошмарный звук «бэаааа», и кровь брызнула мне на лицо. И я сказал себе: он забрал шесть миллионов душ и сейчас ещё одну — йеменского еврея.

Юра. Был у нас такой ученый, Шломо Гойтейн — крупнейший исследователь еврейской истории. Так вот, он считал йеменитов самой аутентичной из всех еврейских общин, то есть самыми подлинными евреями. Он объяснял это отрезанностью и удалённостью этой общины от европейского влияния и полагал, что они в большой степени сохранили ментальность Талмуда.

Он рассказывал, как, показывая своему другу, профессору Луису Гинзбургу Иерусалим, привёл его в йеменитскую синагогу. Выйдя после молитвы, тот сказал: «Теперь я знаю, что такое иудаизм». Почему он так сказал? Наверное потому, что у йеменитов синагогальная служба особенно торжественна и красочна, что вообще свойственно восточным общинам. Да, наверное, в ней есть и некий эмоциональный порыв, который свойственен и молитве восточноевропейских хасидов. Так что, исходя из этого, можно сказать, что Эйхмана повесил самый аутентичный, самый подлинный еврей.

Шалом. Я родился в маленьком йеменском городке. Около него были вырыты пещеры в горах. Когда я был маленьким, отец взял нас всех туда и сказал, что в случае войны, если будут убивать евреев, мы спрячемся в такой вот пещере.

Отец был столяром, он умер, когда мне было семь лет, и мать осталась с пятью детьми на руках. Мне пришлось работать разносчиком товаров на базаре. Питался объедками, спал, где придётся. Когда начался массовый исход евреев из Йемена, мне было тринадцать. Для того чтобы попасть в Аден, откуда репатриантов перебрасывали самолётом в Израиль, надо было многие дни брести по пустыне. Я шёл вместе с братом, по ночам мы зарывались в песок, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. В самолёте нам состригли пейсы — донимали вши...

В Израиле меня приютил один раввин. Как-то ночью меня забрали военные из призывной комиссии, приняв за сына раввина, который умер ещё в лагере в Адене. На призывном пункте офицер ругался, что ему «опять привели детей, пусть этого сосунка вернут матери». Мне было 16, но я попросил, чтобы меня оставили в армии, потому что идти мне было некуда. Так началась моя служба, сначала армейская — в погранвойсках, в десантных подразделениях, а потом — в тюремном ведомстве.

В 1961 году я служил надзирателем в тюрьме города Рамле, неподалеку от Тель-Авива. В декабре меня вызвали к начальству и спросили, согласен ли я войти в команду по охране Адольфа Эйхмана, которого после вынесения приговора должны были перевести в Рамле из тюрьмы Джильма и содержать там вплоть до казни. Я согласился, хотя не вполне понимал, кто такой Эйхман и что такое Холокост, ведь мы, йемениты, его не пережили. У нас были свои беды, но Холокоста таких масштабов не было.

Юра. Понимаешь, сейчас трудно себе представить, чем явился процесс Эйхмана для тогдашнего Израиля. Он изменил лицо страны, был самым важным событием вплоть до Шестидневной войны. Его транслировали по радио (телевидение появилось семь лет спустя), и многие люди, особенно молодые, впервые осознали масштабы трагедии, поняли, что каждый из них мог с помощью этого интеллигентного немца превратиться в дым и пепел.

Шалом. Его называли «преступником номер 1», и для него был выделен в тюрьме целый этаж (пять комнат), названный «квартирой Эйхмана». Жизнь его в течение полугода, которые он провёл здесь, была строго, до мелочей регламентирована. В камере имелись койка, стул и стол.

Распорядок дня выполнялся педантично. В пять утра — подъём и затем вплоть до отбоя всё по часам: уборка комнаты, завтрак, осмотр врача, прогулка, обед, послеобеденный отдых в постели, снова прогулка, свободное время, и так — до отхода ко сну в 22 часа.

В камере постоянно находился надзиратель. В смежной комнате, за решёткой, сидел другой, который наблюдал за тем, что происходит в камере. В более отдалённой, третьей комнате был дежурный офицер. Остальные охранники находились снаружи. Все мы носили тапочки на резиновой подошве, дабы не мешать сну приговорённого, а если тот не мог уснуть, дежурный офицер должен был дать ему 25 капель валерьяны для успокоения. Пробы крови и мочи на анализ у него брали дважды в неделю. «Свободное время» Эйхман проводил за письменным столом, писал воспоминания.

Он сидел без кандалов. А я дежурил в камере. Я на стуле и, конечно, без оружия. Немецкого я не знал, и, когда он хотел пойти в туалет, он знаком подзывал меня. Я одевал ему ножные кандалы, а в туалете освобождал его от них и стоял у сливного бачка в момент, когда он сидел на унитазах. Я обязан был следить за ним, чтобы он не покончил с собой. Эйхман был очень чистоплотен и всё время, сидя на унитазах, сливал воду, чтоб не было запаха. После этого вставал, закрывал крышку унитаза, мыл руки, и я вновь одевал ему кандалы. Когда я возвращал его в камеру, он говорил мне «грacias», что по-испански означает «спасибо», зная, что я сэфард, а не ашкеназ. Он вообще знал много вещей...

Однажды один из моих коллег попросил поменяться с ним, я согласился и оказался в комнате за решеткой, из которой было видно происходящее в камере. С Эйхманом же оказался надзиратель Блюменфельд, который заговорил с ним по-немецки. Он, закатав рукав, показал лагерный номер на руке: «Ты

видишь, что делает время?.. Когда-то я был у тебя, теперь ты у меня. Земля круглая, и смеется тот, кто смеется последним...» Эйхман разозлился, пожаловался дежурному офицеру, после чего вышло распоряжение о том, что охранники, прошедшие немецкие концлагеря, должны быть лишь во внешней охране.

Юра. Интересно, что наш йеменит воспринимал своего подопечного как человека воспитанного, интеллигентного, что в его сознании — простого традиционного еврея — не совмещалось с масштабом его злодеяний.

Ханна Арендт, бывшая на процессе Эйхмана, писала в своей книге «Банальность зла», что Эйхман не монстр, не садист, а «ужасно и ужасающе нормальный» человек, служака, карьерист. По её мнению вина нацистских преступников состояла не в патологической жестокости и фанатичной вере в порочные идеалы, а в том, что они не думали, не хотели знать, обманывали себя, не желали видеть факты, анализировать их и поступать сообразно своей совести.

Даня. Мне эта ситуация видится несколько по-иному. Когда-то, исследуя коллективизацию, я задался вопросом, каким образом можно было её так быстро провести? Как удалось буквально в считанные дни по всей огромной сельской стране включить столь эффективно действующий механизм массовых репрессий? И ответ нашёл в материалах знаменитого Смоленского архива, в той его части, где рассказывается о жизни рядовых сельских «партейцев».

Со времён Гражданской войны, в течение десяти лет их воспитывали определённым образом. С юных лет им объясняли, что есть две правды — бедняцкая и кулацкая, что классовый подход заменяет все моральные категории человечества. Их учили не падать ни отца, ни матери, ни друзей, ни соседей; доносить о настроениях, слухах; отнимать в интересах класса чужое имущество, а если надо, и жизнь.

Конечно, это были обыкновенные малограмотные парни, с трудом владевшие политической терминологией. По-настоящему научились они одному — выполнять любое указание, преступать по этому указанию любую человеческую норму. Эти-то парни и провели геноцид в российской деревне 30-х годов.

Но и Германия сороковых тоже не сразу подошла к геноциду евреев. И там были война и революция, унижение и развращение, жёсткое идеологическое воспитание. Только вместо слова «класс» стояло слово «нация». Там тоже были активные молодые немцы, конечно же, внешне куда более цивилизованные, чем сельские российские парни, но так же, как и они, готовые преступить любую моральную норму.

Шалом. В конце мая 1962 года после отклонения кассационной жалобы Эйхмана мой непосредственный начальник, офицер тюремной службы Абрахам Мерхави спросил меня, не соглашусь ли я исполнить волю правосудия? Как я потом узнал, в управлении тюрем искали человека, которого непосредственно не коснулась трагедия Холокоста, и выбор пал на меня. Я ответил, что побаиваюсь, опасаясь, и тогда он показал мне фильм, где нацисты издеваются над детьми. Это потрясло меня, и я согласился.

К этому времени Пинхас Закликовский, специалист по строительству печей, работавший на заводе в Петах-Тикве, потерявший в Катастрофе мать и четверых братьев и сам прошедший нацистские концлагеря, построил по заказу полиции специальную печь, выдерживающую температуру 1800 градусов Цельсия.

Тридцать первого мая наш президент отклонил просьбу Эйхмана о помиловании, и казнь назначили на предстоящую ночь. У меня был выходной, и я вечером отправился вместе с женой к матери, чтобы отпраздновать день рождения своего первенца. По дороге меня догнала машина: Абрахам Мерхави потребовал немедленного возвращения на службу.

Оказалось, что Закликовский собрал в тюрьме доставленную с завода полутонную печь, опробовал её и приготовился ждать ночи, когда ему предстояло сжечь труп повешенного.

Инструкция по проведению казни предусматривала следующую процедуру. Осужденного заранее должны взвесить и заполнить песком мешок как раз по его весу. Верёвку, на которой он должен повиснуть, и крышку люка, которая откроется у него под ногами, надо проверить, чтобы убедиться, что

«всё работает». На голову осуждённого надевался балахон с затягивающейся петлей, руки и ноги его должны быть в кандалах, а к ногам должен крепиться мешок с песком, чтобы тело казнимого в момент открытия у него под ногами люка с ускорением полетело вниз и повисло на удавке, надетой на шею. Резкое падение с грузом на ногах, помимо удушья, приводило к разрывам суставов и шейных позвонков. Час спустя тюремный врач мог констатировать смерть.

Когда я прибыл в тюрьму Рамле, мне дали носилки, покрывала и перевязочный материал, а затем повели в комнату с отверстием в потолке, прикрытом крышкой. Здесь я прождал несколько часов. Затем меня позвали на второй этаж, в верхнюю комнату. Там на крышке люка стоял Эйхман. Он отказался от того, чтобы ему завязали глаза. Мерхави одел удавку на шею, я потянул за ручку, люк открылся, и Эйхман упал вниз. Я видел его в этот момент. Он был в двух-трёх метрах от меня. Я посмотрел ему в глаза: они были равнодушны.

Мерхави рассказывал мне, что за полчаса до казни его посетил священник, и Эйхман попросил стаканчик вина. Его последние слова известны: «Я служил своему флагу и своей родине и расстаюсь с тремя странами, которые определили мою жизнь, — Германией, Австрией и Аргентиной. В скором времени встретимся...»

В час ночи мы с Мерхави спустились вниз, в комнату, находившуюся под той, где совершилась казнь, чтобы снять тело и положить его на приготовленные заранее носилки. Мы отнесли носилки с телом к печи. Она была уже горячей и построена с таким уклоном, чтобы тело соскользнуло внутрь. Но я задрожал, и тело на носилках стало съезжать в обратную сторону на меня. Подняли его снова и затолкали вовнутрь...

Через два часа после кремации печь очистили от пепла, засыпали его в маленькую коробку и отвезли на полицейской машине в порт Яффу. Там коробка была доставлена на борт судна береговой охраны. Судно вышло за прибрежные воды, и начальник управления тюрем развеял прах.

Но меня ещё долго мучили кошмары. Чтобы во время ночного дежурства пройти к центру тюрьмы, я должен был под-

няться на второй этаж, где была «квартира Эйхмана». Однажды, дойдя до стеклянной двери камеры, я увидел своё отражение, принял его за лик висельника, кубарем скатился с лестницы и попал в больницу.

После Шестидневной войны меня перевели в Хевронскую тюрьму. Там я прослужил шесть лет в качестве офицера безопасности и дошёл до должности заместителя начальника тюрьмы. В 1986-м я вышел на пенсию, обратился к вере, стал углублённо изучать Тору в иешиве. Раввины говорят мне: ты выполнил предначертанное Всевышним, у тебя великая заслуга перед народом Израиля. Ты стёр память об Амалеке. Еврей Мордехай повесил Амана, который Амалек, а пророк Шмуэль убил Агага, царя Амалека. Выпало мне не только убить, но и сжечь тело и развеять прах его под небесами... Наверное, таково было веление Всевышнего.

Юра. Амалек — символ всякого зла, символ врага Израиля. Это было племя такое — амалекитяне — потомки Амалека, внука Исава. Они кочевали на Синайском полуострове и напали на евреев, когда те шли из Египта. Так что Моисей заповедал отомстить им, и царь Саул исполнил эту заповедь по требованию пророка Самуила. В книге Самуила Всевышний говорит: «Помню Я, что сделал Амалек Израилю».

Как видишь, ничего-то у нас здесь без Всевышнего не обходится. Всё как в той детской песенке, которая заключает пасхальную агаду. Ты помнишь её? Там в конце приходит Всевышний и уничтожает ангела смерти. Так и здесь: приходит Всевышний и руками простого йеменского еврея, самого аутентичного еврея уничтожает ангела смерти, которого он сторожил всё время судебного процесса.

Они припоминали эту песенку, сидя в той же привокзальной харчевне, где отмечалось приобщение Дани к Авраамову племени. За приоткрытым окном шла пёстрая иерусалимская толпа — хасиды в кафтанах и меховых шапках, солдаты-отпускники с автоматом на плече, арабские гаремные красавицы с занавешенными лицами — всё это плыло в жарком полдневном солнце, истекая потом, звучало разноязыким говором. А Дания

с Юрой, доев свою шаурму, сидели у окна в тёплом ветре вентилятора, потягивали вино, припоминая пасхальные куплеты, написанные в жанре причинно-следственного повтора и оттого легко приходящие на память.

Отец козлёнка мне купил,
Всего два гроша заплатил.

Пришёл кот и загрыз козлёнка. Затем пришла собака и покусала кота, что загрыз козлёнка. Дубинка побила собаку, что покусала кота, что загрыз козлёнка, и так далее. Восьмой куплет звучит так.

Затем пришёл ангел смерти
И поразил мясника,
Который зарезал быка,
Который выпил воду,
Которая погасила огонь,
Который сжёт дубинку,
Которая побила собаку,
Которая покусала кота,
Который загрыз козлёнка...

Затем пришёл Всевышний и уничтожил ангела смерти.

— Это поют в конце седера и, если есть за столом дети, то поют детскими голосами, — сказал Юра. — Ну, а мы с тобой, что пели в нашем детстве?

— Мы-то? — усмехнулся Даня. — У нас были свои песни. Помнится, как я в детском саду распевал: «Внучата Ильича, винтовка у плеча...»

— Как же, как же, помню, — поддержал его Юра. — Там что-то такое ещё было: «Работа горяча. Готовят нам враги войну. Грозить враги не смейте. Мы все красноармейцы. Мы нашу защитим страну». И ведь защитили. Только жить в ней не стали. Так уж распорядился Всевышний. 

Татьяна Дагович

Путь к Конгломерату

Фрагмент постапокалиптического романа «После событий»

Середина нынешнего века. «События», о которых никто не жалеет говорить, смешали карты — в том числе и географические. Границы изменились, государства изменились. Однако люди остались прежними, и жизнь продолжается — по-прежнему. Двое идут по пострадавшим территориям из относительно благополучного государства Цевефре по направлению к менее удачливому Конгломерату. Женщина, которой не хочется, но необходимо идти, и ребёнок, которому идти хочется, хотя и нельзя.

Макси больше не разговаривал с Фридой, и у неё иногда проскальзывала мысль, что речь — нечто чуждое для него и трудное — освоил, только чтобы уговорить её. Теперь, когда всё решилось, усилия прилагать не имело смысла. Всё-таки он не был нормальным. Даже по походке заметно. Но не был и по-настоящему ущербным. Шёл странно, но быстро. Не более зависел от Фриды, чем она от него.

Она — иногда говорила: не ему, себе, но употребляя местоимение «мы». Здесь мы будем спать. Наверно, нам пора перекусить. Только бы нам с погодой и дальше везло. Что-то мы устали, да? Навигатор показывает нам налево. Давай мы вот там, под навесом, посидим в тенёчке.

В маленьком модуле — складном параллелепипеде, заменяющем им палатку — спать приходилось очень близко, и поначалу мешал запах Макси: не просто запах немытого тела — что-то в нём было отталкивающее, болезненное. Но со временем перестала замечать, наоборот, радовалась вечернему моменту, когда расправляла модуль и они вползали в своё маленькое ядовито-зелёное убежище. Внутри было мягко и тепло. Перекидывала руку через костистое тело Макси, будто он был её ребёнком, и засыпала с чувством безопасности. Иногда слышала

сквозь сон шаги ночных зверей, но, не видя их светящихся глаз, не боялась — это они боялись яркого цвета, химического запаха, ультразвука.

При этом как раз из-за Макси пришлось сойти с наиболее удобного маршрута, разработанного для неё в министерстве. Макси и тут не прибегнул к речи — он просто тянул её за руку, деликатно, но настойчиво. Она заводила разговор. Спрашивала: «Макси, ну почему, объясни, для чего? Скажи, зачем нам надо именно туда? Хотя бы покажи как-нибудь!» Они стояли под пожелтевшими руинами многоэтажного дома, на смешанных с грязью осколках стекла, и она боялась, что он, несмотря на костном, порежется, думала: «Что я тогда скажу Дорте?» — хотя сомневалась, что ещё раз встретится с Дорте в своей жизни. Попыталась обнять его, однако Макси, скользнув по ней слепым взглядом, закричал. Она отдёрнула свободную руку — вторую он уже крепко сжимал. И выл. Как дикая сигнализация, сирена. Вой лился по бетону до горизонта, Фрида испуганно оглянулась. Никого не было.

Таким образом они с Макси вернулись на дорогу, которую Фрида прошла в противоположном направлении, стремясь в Ценевре. Если откровенно, ей и самой был удобнее этот отпечатавшийся в памяти путь, чем светящаяся на ладони кривая, заставляющая идти в незнакомые, возможно, опасные места.

С другими людьми, которых видели не часто, но регулярно, не связывались. Даже если бы захотели — все шли в другую сторону. Эти люди выглядели странно и страшно: бросались в глаза их большие жёлтые зубы и впалые щёки под обмотанными тряпками лбами. Чужими они для Фриды не были, она знала их слова и их мысли. Путники были слабыми, но всё равно — или тем более — могли оказаться агрессивными, поэтому она отводила Макси в сторону, держалась от них подальше. Те не обращали внимания, их воспалённые глаза, устремлённые вперёд, не видели ничего, не относящегося к цели, даже этих кричаще-ярких костюмов: таких, чтобы было легко заметить с вертолёта в случае неприятностей (не Фриду и Макси, разумеется, — заблудившегося в горном ущелье туриста).

Однажды вечером — было уже темно, но тем днём шли долго, всё не могли остановиться, и Фрида только теперь собиралась раскладывать модуль — увидела в отдалении свет. Свет и движение. Внедорожник бесшумно катился по направлению к Конгломерату. С включенными фарами. Некоторое время смотрела туда, где он исчез.

Больше всего Фрида любила их с Макси маленькие полевые трапезы. С водой проблем не было, узких ржавых ручьев хватало, и фильтров в рюкзаке хватало. В очищенной воде разводила порошки, получались липкие каши и слизкие супы. Они не были вкусными, скорее наоборот, но всё же имели вкус еды и насыщали. Очень быстро привыкла к ним и заранее радовалась, выбирая пакетик. Опустив веки, склонив лицо над миской, видела себя голодным призраком, проходящим вдоль этих же стен, с осколком красного кирпича за щекой — чтобы что-то было во рту... Макси ел аккуратно, но немного. Попробовала его докармливать — он отворачивался. Махнула рукой. Доедала за ним, в душе довольная, что никто не видит.

Тогда, в доме Дорте, её при одной мысли об этом пути охватывала паника — которую теперь вспоминала с недоумением. Путь есть путь, он разворачивается дальше, продолжается. Туристические штучки придуманы, чтобы делать путешествие комфортным, а дикие края — романтичными. Макси — пусть молчаливый, но спутник, а спутник меняет всё. То, что он ещё ребёнок — не страшно, наоборот, когда заботишься о ком-то и пытаешься внушить уверенность, сам становишься увереннее.

В заросшей ковылём степи вавоём, сидя на земле, наблюдали рассвет. Фрида знала, что Макси тоже смотрит, а это много — знать, что они видят одно и то же, даже если никогда не смогут поделиться впечатлениями. Всё-таки — чувство общности. И когда шли сквозь песок, смешавшийся с воздухом до однородной массы, глотали его и не могли выкашлять, выплакать — тоже была общность, хотя каждый — сам по себе. «Если хочешь не сойти с ума, очень важно, чтобы рядом был хоть кто-то, неважно, кто», — делилась Фрида своими наблюдениями с глядящим мимо неё Макси. Она не могла знать, чувствует ли он то же, или рассматривает её как средство добраться туда, куда

ему хочется. Быть может, «общность» была иллюзорной, чем-то вроде общности с куклой, или с выдуманным, возможно, ушедшим из жизни собеседником, с которым общаешься мысленно, или с фотографией, на которую смотришь время от времени. Однако Фрида видела Макси, могла дотронуться до него, слышала звук его неловких шагов и его размеренного дыхания — этого оказывалось достаточно, чтобы в глубине психики срабатывали успокаивающие механизмы.

Вспоминала часы перед отъездом. Она осознавала тогда, что необходимо помочь Дорте, попросить помощи у Николау, увести в дом и запереть ребёнка. Но, наоборот, всеми силами старалась не дать ему остаться — эхо тоски, одиночества ничейных территорий сдавливало шею, не позволяло сказать...

Той ночью, лёжа под капельницей, смотрела на неподвижное лицо Макси. Ему физиологическая подготовка не мешала, он мгновенно заснул в странной птичьей позе. А она баюкала мысли: Николау не может не знать, что Макси — сын Дорте, но делает вид, будто не понимает — какие у него свои планы, какие свои интересы?

Шли вдвоём. Макси оказался рядом, когда с Фридой — втянувшейся, вросшей в путь — случился приступ. Она забыла об этом проклятье Конгломерата, не ожидала, и только когда сизый горизонт внезапно пошёл острыми углами, начал сплющиваться, мелькнула мысль: «Ну вот я почти дома, только дежурного нет». Падая, вцепилась в Макси руками, и, кажется, успела пробормотать, что в рюкзаке на дне — сумка, в которой шприцы, зелёный, слышишь? Только не синий, и не красный. Потом просто захватывала ртом воздух и не думала. На сетчатке отпечатались спокойные черты Макси. Любой нормальный неподготовленный человек испугался бы приступа, но на детском лице не было и тени беспокойства. Пришла в себя через несколько часов — она лежала на спине, и солнце светило прямо в глаза. Прикрыла веки кистью руки. Слабость обволакивала тело, слабость и покой, Фрида думала: полежу так ещё немного. Ещё несколько дней. Ещё несколько лет.

Вечером пробормотала в сторону Макси:

— Почему ты не говоришь, что я непременно должна обратиться к своему врачу?

И сама усмехнулась своей плоской шутке.

Она не могла узнать, воспользовался ли Макси зелёным шприцом или ей просто очень повезло. Медицинская сумка — Дорте смеялась над ней, но Фрида настояла на том, чтобы взять сумку с собой: если ей придётся жить у себя и ходить на дежурства — где найти новую? — оставалась на самом дне рюкзака, разбирать который в засохшем и распадающемся лесу, через который продвигались теперь, было бы неудобно и неразумно. Следа от укула не нашла — среди царапин и ссадин последних дней не различить, даже если он есть. Осмотрев себя, лишь удивилась, что ни синяки, ни разодранная кожа не причиняют ей беспокойства, единственное, что беспокоит — зуб. Теперь здоровый, восстановленный замечательными стоматологами Дорте, по мере приближения к дому он всё чаще ныл ночами. «Это упрямяство», — думала рассеянно.

Макси следовал за ней. Совсем худенький — ему было легко протискиваться между тонкими, плотно растущими стволами, частично сломанными и раздвинутыми Фридой. Она искала тропу, просеку, по которой ходят люди. Однажды услышала шум — кто-то пробирался сквозь лес с другой стороны, попыталась двигаться в том направлении, но это оказалось невозможным — упёрлась в колючую проволоку. Чуть не расплакалась. Но помнила, что в этом лесу не заблудиться, он на самом деле невелик, главное, пройти поперёк и не идти вдоль, колючая проволока не даст потерять направление.

— Вот видишь, мы и вышли! — поделилась радостью с Макси, когда вынырнули на свободное пространство.

Стояли над высоким обрывом. Огромный пузырь неба дрожал над головой, и плыли по нему маленькие, красноватые пузырьки облаков. Внизу, под обрывом блуждали белые блики на чёрных поверхностях. Здесь мониторы и телевизоры ещё стояли ровными рядами, и все провода от них вытянуты вправо. Дальше будет менее аккуратно, а потом — полный хаос, трещины, осколки пластика, обрывки проводов, оплывшие расплавленные куски.

Они пошли вдоль линии обрыва, чтобы спуститься по одному из проложенных дождевой водой пологих подъёмов. «Спусков», — поправила себя мысленно. Противоположное направление.

Фрида была погружена в себя, в ритм шагов, в движение, когда Макси вдруг забежал вперёд неё, стал, заставляя и её остановиться.

Взял её за обе руки и сказал медленно, ласково:

— Ну вот, я пришёл. Я тебя благодарю.

— За что? — удивилась она.

— Благодарю, — повторил он. — И здесь буду. Здесь. Больше не буду идти.

— Не-е-е-т, — Фрида смеясь покачала головой. — Здесь нельзя. Ты видишь — здесь ничего нет. Мы пойдём дальше. Я приведу тебя к себе домой. Помнишь, ключ?

— Хороший мальчик не будет капризничать, — спокойно, но строго возразил Макси. — Ты пойдёшь к себе домой, я — к себе. Я живу тут.

— Здесь нельзя жить, Макси. Здесь ничего живого. И как ты будешь один?

— Здесь много. Я не один. Много. Всё. Хватает. Будет.

Он посмотрел под ноги, и Фрида посмотрела под ноги — беспокойное копошение насекомых.

— Хорошо... — внезапно навалилась усталость, она вспомнила — да, именно об этом и шла речь вначале, как могла забыть. Он никогда не планировал идти в Конгломерат. — Я всё равно уже думала останавливаться на ночлег. Правда, не знаю, как мы здесь расположимся...

Фрида рассчитывала, что за ночь Макси забудет или ей что-нибудь придёт в голову — способ переубедить его, обвести вокруг пальца и увести с собой в Конгломерат, где он будет её ребёнком, растить которого у неё всё равно нет средств, но у ответственного — вот у кого должны быть... На самом деле внутренне понимала, что это последняя ночь, когда, забравшись с Макси в модуль, она, в жесте защиты, перекинет руку через худощавое жёсткое тело и уснёт в нечестном — сын не её — материнском покое.

На этом участке пути, в степи, покрытой мёртвой серой травой, ничто не мешает идти, и Фрида шагает в ровном ритме, связанном с другими ритмами — сердцебиения, дыхания, в глу-

бине тела — с менструальным циклом. На краешке сознания звучит в том же ритме песня, — что за мелодия, думает она, где слышала, откуда я помню, — и шелестят травинками слова, но когда она пытается распознать их, они рассыпаются в пыль, — слова общие, без авторства, без эпохи, и общая мелодия без композитора, состоящая лишь из ритма шагов.

Единственное, что нарушает ритм — короткие взгляды, которые Фрида невольно бросает, чтобы удостовериться — никого нет, её никто не видит. Злится, когда ловит себя на этих взглядах, пытается уговорить саму себя: она поступила правильно. Но всё-таки некоторые вещи легче даются без свидетелей. Подозревала бы присутствие хоть одного человека в радиусе пяти километров — не бросила бы Макси. Потому что никому, кроме себя, невозможно доказать, что это — верное решение. Почему оставила его? Поддалась на обиженный скулёж, на жалкие угрозы? В какой-то миг ей и на самом деле показалось, что это правильно. То место, оно чем-то напоминало самого Макси. Нелепое и непонятное. Но не несчастное. Связанное с человеческим прошлым, но уже чуждое.

Оставить ребёнка-инвалида фактически среди пустыни. Ей страшно, потому что кто-то может сказать, что, даже если ребёнок привязывает мужчину — мнение Николау — то уж точно не такой. Тем более — не чужой. И сама эта радость другому, спутнику — она давно приелась, превратилась в усталость, сменилась жаждой одиночества. Теперь, когда Конгломерат с его людьми, понятными и знакомыми, ближе.

Но никто никогда не узнает. Она не будет думать о том, что произойдёт с Макси через день, через два, через неделю. Пусть делает, что хочет, живёт, как хочет. Она никогда не вернётся в мир Дорте. Так сложилось. По сути, Фрида ведь никогда и не хотела покидать Конгломерат, и именно там её место. Просто слишком испугалась. Чего? Своих? Она сможет жить дальше, как жила, так, словно за пустошами ничего нет... дикие народы... Она больше не будет писать Николау и не будет приближаться к ответственному.

Ускоряет шаг — слишком сильное желание: развернуться, бежать обратно, обнять Макси, вернуться с ним к Дорте, будто

к собственной матери, которая пожурит, но будет и дальше кормить-поить-одевать, это была долгая нелепая прогулка, подетски глупая вылазка без разрешения, такое приключение. Вернуть Макси, как украденную драгоценность.

Она идёт ещё быстрее, рюкзак теперь лёгок — минус модуль, фильтры, почти все порошки. На сколько ему хватит? Неделю? Две? Да и будет ли он возиться с фильтрами, с порошками — и догадается ли? Нет смысла думать о Макси. Его невозможно было сдвинуть с места. Физически он сильный, сильнее Фриды. А его крики... Кто способен выдержать этот звук? Она сделала, что могла, она писала Николау — умоляла вмешаться, и что? Где ответ? Где их хвалёная связь? Она не могла остаться с Макси, потому что... это должно быть ясно. Там невыносимо. А Дорте, почему отпустила она — ведь это она мать, она должна была... пугаясь, понимает, почему Дорте отпустила Макси с ней. По той же причине. То же бессилие.

Ритм шагов. Ритм дыхания. Жёлтые травинки под ногами. Не узнанные припевы. Текущее вдаль небо в смазанных охровых облаках.

Прощаясь с ней, Макси разговорился. Он легонько погладил её руку выше локтя (узнала собственный жест, так успокаивала его) и пробормотал примирительно:

— Я останусь. Не бойся. Всё хорошо. Всё равно будет война, — сладким голосом, будто не вопил только что. Хотела сказать: «Не говори ерундь», но выскочило, как пробка из бутылки с шампанским:

— Я знаю.

Так и подумала — бутылка с шампанским, праздник войны, все эти Николау, все эти откровения ответственного, это непонимание Дорте, эти взгляды, не сказанные слова — всё это, сжатое внутри под давлением, превратилось в два лёгких слова, но Макси только засмеялся — тихо и отрывисто:

— Н-е-е-е-т, ты не знаешь. Это не вы против вы. Это вы против мы.

— Мы... Что за мы?

— Я же говорил. Они, другие...

— Но — кого бы ты ни имел в виду — никто не отыщет тебя, если ты не пойдёшь со мной. Если ты хочешь, чтобы...

— Да нет. Всё нормально. Ты не права. Я переписываюсь.

— Макси, я же видела — у тебя нет никаких средств связи. Это игра, да? Зачем опять играть в войны?

— Мы не хотим. Вы. Вы хотите. Я не знаю, зачем. Хотел спросить тебя. От отчаяния?

— Я не знаю. Давай лучше поговорим о другом. Я предлагаю тебе: мы пойдём дальше. Я помогу тебе... я приведу тебя к одному человеку, у него много возможностей... И мы найдём всех, кого ты хочешь найти.

Тут Макси рассердился, закричал, хотя и не так громко, как в прошлый раз, потом что-то бормотал о сверкающих звёздочках, о вспышках, — Фрида слышала о вспышках в доме Дорте, но не могла сейчас вспомнить, к чему это было — помнила только, что важное... Внезапно успокоившись, Макси объяснил:

— Мы не победим, мы выиграем. Потому что это естественно. Это разница. Но, маленький, ты не грусти. На тебя хватит. Время хватит.

Времени? Тогда впервые пришло в голову, что бóльшая часть жизни уже позади. Сколько лет ей ещё нужно, чтобы хватило? А потом — какая ей разница, что будет. Детей у неё нет, её маленькая жизнь — маленькая вселенская случайность — не выходит за собственные пределы.

И сейчас улыбается, вспоминая об этом разговоре, не теряя ритма, мелодии, слогов, шагов, вот бьёт в уши заключительная строчка песни: «...и шар растянется дугой», даже мерещится, что «дугой» где-то пересекалось рифмой с «другой», но больше никаких слов нет. Никогда не слышала такой песни.

После песни в ушах висит глухая тишина. Спускающееся солнце оказывается прямо напротив глаз. Трава под ногами светится красным в лучах.

Заграждения — сетки, колючая проволока, острые штыри наверху — протянули пока что не по всей линии границы. Кое-где уже стояли солдаты, но она ещё смогла беспрепятственно пройти на территорию Конгломерата. Болезненно дрогнуло что-то в памяти, когда увидела первые многоэтажки с тусклыми окнами, хотя оказалась достаточно далеко от своего дома. Шла

пешком, не хотела привлекать внимания в транспорте. Сжимала в кармане ключ. Надеялась, что не столкнётся ни с кем из соседей, знакомых. Пряталась за углами зданий от вездесущих дежурных. Кто заменял её на дежурствах, кто отработал за неё эти многочисленные дни? Такое упущение не могло остаться незамеченным, её отсутствие — факт, известный всем причастным. Она не могла сейчас просто вернуться на место, которое оставила полгода назад — но об этом потом, потом... если её квартира ещё не занята кем-то другим. Если занята — где укрыться, чтобы собраться с мыслями?

В подъезде смогла немного расслабиться. Словно впервые видела шершавые, исцарапанные и исписанные серые стены — по ним, как по схеме, восстанавливала свою предыдущую жизнь. Звук лифта повторил звуки прежних дней, и, оказавшись внутри, она изо всех сил вжала палец в кнопку и не отпускала — кто-то когда-то говорил, что так лифт не отреагирует на вызов с другого этажа.

Пыль и запах подгнившей воды ударили в нос, когда зашла в свою квартирку. Заперлась. Напряжение отпустило сразу — Фрида без сил села на кровать, дала свалиться со спины рюкзаку и, сгорбившись, застыла. Так, неподвижно, сидела, пока небо за окном принимало сиреневатый оттенок, пока темнело, пока чернело. Медленно накатывалась ночь. Снизу шумела вода — кто-то из соседей принимал душ. Сверху шли к кухне, потом возвращались в комнату. Тишина. Потом опять шаги. Несколько окон засветилось в соседнем доме внизу. Совсем не экономят.

В полной темноте Фрида наконец разделась, аккуратно сложила свой яркий, почти флуоресцирующий верхний костюм, не вписывающийся в бесцветную реальность комнаты, и положила на дно шкафа. Накрыла старой простынёй.

Нужно было принять душ, но мысль о едва тёплой ржавой струйке не радовала. Хотя внизу вода била громко. Может, сегодня как раз хороший напор? Как неприятно снова думать об этом.

Она нашла свои восемь книг, открыла одну из них — старую, не последнюю, и, не экономя электричества, начала читать. 

Юлия Шokol

СОН КУВШИНКИ, СНЯЩИЙСЯ МОНЕ

1.

как разучиться взгляду,
вымолчаться до речи?
терпкого винограда
смутлые зреют плечи
так далеко, что рядом
даже коснуться нечем —
горьким своим,
огромным,
бесчеловечным.

что за словами длится,
не оставляя следа?
если на наших лицах
плещется слепок света,
словно вода в копытце —
так тяжело и слепо...

выпей до дна, мой братец,
видится после смерти —
жизнь прошла незаметно,
жизнь была
не за этим.

2.

кувшинку на воде зовут моне,
качается под музыку извне
огромного невидимого сада.
ей света нет —
и большего не надо.

кувшинка превращается в кувшин,
пилящий выдох, проверь жи-ши,
дыши и виноград носи в ладонях —
он стал вином,
он сам себя не помнит.
но помню я, и голос невесом,
и жизнь течёт под веками, как сон,
под каменными плотными веками —
течёт-течёт,
себя перетекает.

и человек — качание и свет,
и воздух в лепестках, которых нет,
и — сущего простой однофамилец,
и сон кувшинки,
что мне приснилась.

гомерида

проиграли в холодно-горячо,
и мороз нас намертво перечёл,
словно список кора...
но где же твоя кора,
древесина, раздетая до нутра?

шпалы-рельсы... сколько себе ни вейся,
это тело воды, о братья мои ахейцы-
короеды,
ковчег нам и до утра не съесть,
потому что гомеру явилась благая весть.

так из штаммов вывели мандельштама:
золотистая спинка
и воздуха на прощанье
вороватый профиль мелькнёт — и всё,
у судьбы гомерическое лицо.

так елене елеем мазать ладони клёна,
так и мне выкликать поимённо
к изголовью тех, кому —ни имён уже, ни голов,
а товарищ гомер отвечает «всегда готов»,

потому что троя, как одеколон, тронется,
потому что зреньё — слепая ночная птица —
накрывает мир, что покорно лежит распят
от груди до самых ахиллесовых пят.

Hieronymus

была ли здесь волглая темнота
была ли здесь иволга
налита
по горлышко узкое долгим о
где смерть вынимала моё нутро

чтоб пальцами в алое
чтоб не разлей вода
мне ливень летел как яблоко мимо рта
всем телом текучим выгалкивая на свет
всё то чему в мире названий нет

и кто-то стоял по жабры в тугой тоске
огромной ракушкой на песке
неслышимым ухом где звуки горят внутри
где жизнь моя иволга
ивовой же кости

и вот по весне выплывает протяжный звук
из плоти шершавой
из мёрзлых рук —
не птица но древо пернатое до корней
живее всех мёртвых
румянее и белей

и нет никакого зеркала
из пустот
о чём-то своём бормочет безумный рот
и добрый босх склоняется надо мной
и пищет свет
до его разделения с темнотой

ГОЛОД-О-МОРЕ

вот я качаюсь с пятки на носок,
вот колосок себя в руках несёт —
с таким лицом, упругим, словно шаг,
с такой беззвучной музыкой в ушах,
что в переводе горький земляной
немеет и немотствует —
не мой
уже давно — ни хлеба и ни зре-
хлебнувши горя, не успев созреть,
несёт себя — и ГОЛОД говорит
внутри него, сжигает словари
не ожегова — жажды и огня —
из слов,
рождённых
впереди меня
и сложенных в пустой земной живот,
откуда прорастает и живёт
не колосок, себя несущий, как
огромный полыхающий маяк,
но человек, страданию сродни,
из корневого света
и крови —
всего, что не случилось не с тобой,
не в этой жизни,
ни в какой другой.

крестоносец

и кто-то шёл, разбитый на шаги,
и дождь стоял на мостике — прогиб
и але-оп в текущем позвоночнике.
а человек прошёл,
потом закончился.

и вместе с ним закончилась вода,
такая мокроносая, ни дать
ни взять — простуда и волнение.
ковчег качается
вовне,
во мне ли он?

и в ливневом, огромном и чужом,
себя обжив, изжить, скользнуть ужом,
какая жатва или, может, жажда тут:
напиться и войти сюда отважиться,

чтоб дважды в реку,
свет одно дыхание,
и дождь идёт, измученный, израненный —
уже не дождь,
и пить не просит рот.
И крест не знает,
кто его несёт.

mad-eleine

польхающий куст называется именем пруст,
кустодиевский шмель прожужжал его наизусть:
все десятки томов, закусив эвридикой в соку,
в бессловесном аду, поместившимся в эту строку.

что мне память летейская, богом забытая глушь,
даже эту метафору можно отправить в рагу

и оставить врагу, как мадленки настойчивый хруст.
о хрусталь моей ночи,
я больше тебя не боюсь.

так в хрусталике дня преломляется не слепота —
полифемное зрение, кроткая нота крота,
глухота глухаря, но бессовестный зверь человек
проступает, как рана, внутри опечатанных век.

al dante

1.

теснее чем земля ложится в землю
лицом к лицу уже не разобрать
ни образа —
зелёное прозрение
глядит во все глубокие глаза
и светом вышивает образа

и гладью — этот шелест против шерсти
и шествие породистых глубин
шершавое
что остаётся по прошествии
мне голос глины пахнет голубым
небесным молоком грудным

и ад одетый в чернозём и данте
раздетый до молчания вот-вот
сомкнутся
и кого просить — подайте
немного звуков в пересохший рот
когда внутри бессмертие живёт

никак не заживёт

2.

где страдания юного ветра —
выпадает согласный звук
это яблоко не заметили
золотой световой испуг

тихий стук о глазное дно
разлетается
мед-лен-но

это свет выключают в теле
чтоб легче им всем спалось
на пределе на беспределе
и на вынос и на износ

даже ад мне пошит на вырост
словно воздух себя не вынес

и стоит совершенно пуст
тишина ещё малокровна
но густеет касаясь уст
ад сплошной или рай кроме-

шний
тише кто-то идёт нездешний
тьму и свет разделяя между
в неизбежную синеву

Жанна Лебедева

ШОКОЛАД

чужая жена — неверная,
холеричная, нервная,
через бледную кожу
гибких пальцев и рук
просвечивают пухлые венки,
рисунок становится чётче,
когда сжимает ладонь

четыре косточки — ровная нитка
скалистых выступов,
четыре юрты, улиткой
свернулись пальцы,
второй и первый,
держат карандаш
гладкий, деревянный,
жонглируют
тростинкой неприкаянно

чужая жена — неверная,
по столу барабанит манерно,
винтажным спрятана светом,
мёрзнет под пледом,
овечьими острыми иглами
шерсть колет ноги:
скрещенные голени,
сжатые колени

глаза чужой жены
навязчивы, полузакрыты,
квадраты белых комнат
холодом до потолка залиты,

пишет на бумаге
из жемчужной марли,
зрачки разбавлены
растопленным повидлом
тёмно-шоколадным,
шепчет голосом насадным,
светло-розовые губы
акварельного оттенка —
тени на мелованной стенке

чужая жена — неверная,
опоздала
на поезд последний до Берна,
кончики
мягких плавных волос
стелются тихим плавающим
по подушке, а ещё
длинная футболка под горло
тканью скрывает всё то,
куда вход воспрещён

* * *

*so much magnificence
hallelujah*

сизу пью холодный остывший чай
с мебели снимаю запоздалые мерки
на столе посуда с прилипшими остатками
еды, с днищем глубоким/мелким
на обороте чашки въевшиеся колдобины
сладкие островки клубничного варенья
каша на пластмассовом конусе деформированной
треснутой тарелки с кусочками ревеня
балконная дверь закрыта не намертво/не полностью

бордовые мощные складки занавесочной материи/мантии
отгородили мою каморку/мой склеп от остального
огромного мира мимикрией выцветшего платья
вечеринка на соседской веранде гремит контрапунктом
к моей вечной апатии/безмолвию/тишине
я ухожу в себя на вибрациях воздушного потока
как в последней сыгранной шахматной партии
лифт качается, запускает напряжённые мышцы, как голубя
в тёмную талую тяжесть холодного колодца: вверх/вниз
в затемнённый коридор отвесный/пологий
огоньки номерных значков мелькают, как искрящийся флис
отсчитывают равномерные повторяющиеся отрезки
на твоём рисунке ладонном/детском
с раскрытыми клавишками друг к другу — зеркальная оптика
<>

связанные/сомкнутые/соединённые маленькими хвостиками
><

смыкание/соответствие поцелую языком
острие тонкой наэлектризованной пружинки
напёрсток с намагниченной иглой/скрепкой
как ореховый лукум, я думаю о том о ком
два медиатора протянутые через сердечную мышцу
муфты бороды полботинка
как сточенный сросшийся стручок боба
как двойной пиццикатный значок
через лобную кость костистую мякоть лба
наша сопричастность в одной единственной точке
создание новой/обоюдной/заново рождённой вселенной
одна фигурка трогательно и мягко въезжает в другую
образуется замкнутая/сконцентрированная на себе
человеческая геометрия в звуке повторяющемся/мерном
как ставни/раздвижные жалюзи цвета спелой маракуйи
две плоскости рядом
одна открывает себя другому родному —
соединение/слияние в нише тёплого логова/дома
клавиш в клавиш
спинка к спинке

носик к носику
горбинка к горбинке
по ровной кости
треугольная литера
мягкая былинка
разомкнутые ладони цепляются кончиками пальцев
открыты миру, раскрыты друг другу
треугольник на запястье/на тыльной стороне сердечного колодца
резиновый волчок надевает зонтик-юбку
как абажур расправленный к солнцу
мы держимся за руки нам хватает одной дыхательной трубки
преодолеваем сопротивление, отталкивающую силу
это знак приближения идти только навстречу на любимый звук
в динамике, в развитии, тяга/притяжение слова «милый»
закрытый инкрустированный любовью меч
как вода на поверхности склеивается в твоём отражении
как река что не останавливается не прекращает течь
разорванные/надорванные/порвавшиеся края тем не менее
без швов/без зазоров/без нахлёстов/без нестыковок/без перекоса
как слово «люблю» на одной строчке без переноса

* * *

я люблю смотреть, как ты брешься опасной бритвой
неровные симметричные края с гильотиной посередине
громоздкие неуклюжие пальцы держат открытое лезвие
лезвие не смыкается, но разламывается надвое
похрустывая, счищает пелену рыхлой клочковатой пены
ржавеет в заплывшей мылом мыльнице
комочки мыльной слизи складываются в чёткий подводный
рисунок
в твоих руках нервная дрожь
следующий взмах бритвенного ножа я вижу в зеркале
холодная акула аккуратно разворачивает плавник
пахнущая кожа человеческого цвета
освобождённая от назойливо разрастающихся остатков сухих
ВОЛОСКОВ

отражённые поверхности резонируют друг в друге
линии пространственно-временных сдвигов
косячки массивных пальцев опутывают твой зоб
дополняют спокойную поверхность
моей кожи без защитного эпидермиса
баллончик газовой зажигалки зашумел тёплым волнением
по зубчатому колёсику, как в часах, не сгибаясь
твой нервный первый палец
перебирает усечённую половинную длину диаметра
это я спряталась в бочонке твоих тёплых нервов
хрящиков и малюсеньких косточек
ветер сжался до жидкого текучего аморфного молчания
ты зажигаешь спичку
два пальца (прищепкой) (тисками) плоскогубцев
удерживают шероховатую тонкую деревянную иглу
трамплин для прыжка в воду — игра морских котиков
эквилибристика в серном облаке дыма
я сгораю и высвобождаю энергию
поддерживаемая твоими конечностями
четырёхгранное основание моей жизненной силы
заполнено свежими пахучими древесными смолами
эмбрионами пота твоего едкого янтарного естества

Лера Манович

Задница

Гурова долго вертелась перед зеркалом голая, поворачиваясь то задом, то передом, то опять задом. Потом обернулась и сказала:

— Ты заметил, как я постарела?

Гуров неохотно оторвался от экрана компьютера, быстро взглянул на свою жену:

— У тебя прекрасная задница.

На её капризном лице отпечаталось легкое удовлетворение. Гуров с облегчением вернулся к тексту.

— А ведь ты перевидал немало задниц, дорогой? — Гуровой хотелось поговорить.

— Порядком, — Гуров раздражённо стёр на экране последнюю строчку.

— Говорят, ты трахнул даже старуху Шухевич, которая сейчас похожа на самовар в парике.

— Тогда она ещё не была похожа на самовар.

— Ты хочешь сказать, что у неё тогда была маленькая жопа?

— Она хорошо поёт, — сказал Гуров

— Ты трахнул её потому, что она хорошо поёт?

— Был какой-то музыкальный вечер, я был пьян. А она хорошо пела. У неё был красивый голос.

— И тебе этого было достаточно?

— Мне бы хватило и меньшего.

— А почему тогда ты выбрал именно Шухевич?

— Мы пели на два голоса. И у нас хорошо получалось. Остальные пели хуже. Она была весёлая. Потом я пошёл её провожать.

Гурова накинула халат, приоткрыла балконную дверь, плюхнулась в кресло у окна и закурила. Нет, она не просто закурила. Она впилась в него тем взглядом с прищуром, который обещал неприятное продолжение разговора:

— Потом у вас тоже хорошо получалось?

— Не помню. Наверное, не очень, раз я не помню.

— Но тебе понравилось?

— Не помню.

— Но ты ведь захотел повторить?

— Разве?

— Когда-то в начале наших отношений, когда ты ещё был честен, ты мне сказал, что у вас это было пару раз.

— Может быть.

— И второй раз ты был уже не так пьян. Но трахнул её ещё раз. Значит, тебе понравилось.

— Не значит.

— Как это?

— Если мужчина трахает во второй раз женщину, это вообще особо ничего не значит. Помнишь, тебе не понравилось, как тебя подстригли в той парикмахерской через дорогу? Ты даже плакала.

— Причём тут парикмахерская?

— А через месяц, когда тебе срочно нужно было подстричься, ты опять пошла туда же. Не просто туда же, а прямо к тому же мастеру.

— Это ближайшая парикмахерская к нашему дому.

— Номер Шухевич в гостинице был рядом с моим.

— Во второй раз мне понравилось, как меня подстригли!

— жена вызывающе уставилась на Гурова.

Гуров в отчаянии повозил мышкой по экрану. Потом вместе с креслом развернулся. Он был в халате на голое тело.

— Послушай, — сказал он. — Послушай, любимая. Не понимаю, что мы сейчас обсуждаем. Думаю, что тебе просто скучно. Странно, что ты заводишь всякие такие разговоры именно после секса. Тебе что — было плохо?

— Нормально.

— Ты вроде даже орала.

— Я симулировала.

— О'кей. Половина женщин симулирует, я не против.

— Откуда ты знаешь про половину женщин?

— Статья какая-то была. Кто-то посчитал.

— Посчитал симулирующих женщин?

— Тиша того.

— А если они обманывали?

— В смысле?

— Ну, говорили, что симулировали, а сами не симулировали.

Гуров вздохнул и развернул кресло к экрану компьютера:

— Думаю, это не наши проблемы.

— Я так тебе осточертела, что и поговорить лень?

Гуров шумно втянул воздух и снова развернул кресло:

— Завтра мне нужно сдать заявку. Её надо было сдать ещё на той неделе, но продюсер продлил срок. Он мог бы передать работу, но он хочет, чтобы именно я писал этот сериал. Этот текст — это не просто моя блажь. Это деньги, на которые мы сейчас живём. И будем жить, если ты меня не доконаешь этими разговорами.

— Ты угрожаешь мне?

— ??

— Ты намекаешь на то, что бросишь меня, если я не прекращу?!

— С чего ты взяла?

— А что значит — доконаешь?

— Ну, я умру. К примеру.

— А-а, — она швырнула бычок с балкона и прошла по комнате. — По-моему, это какой-то дешёвый пример.

— По-моему, тебе скучно. Может, пойдешь прогуляться? Доктор придёт только в три.

— Куда?

— Ну, дойти до магазина, например. Это было бы кстати, время обеда.

— Ты посылаешь меня в магазин?

— Как вариант. Но я не против, чтобы ты просто прогулялась. Я не голоден.

— И о чём твой сериал? — жена стояла у него за спиной, пытаясь заглянуть в экран.

Гуров терпеть не мог, когда она так делала. Он развернул кресло и сказал, интонируя каждый слог:

— По-жа-луй-ста.

— Что?

— Не мешай.

— Ты имеешь в виду — отъебись?

— Примерно так. Но я говорю это с любовью.

— Ладно, — женщина открыла ящик комода, достала трусы. Натянула. — Ладно. Что купить в магазине?

— Что хочешь. Мне — апельсиновый сок и сигареты, — Гуров заколотил по клавишам.

— О'кей, я пошла.

— Эй, — Гуров обернулся. Его реплика затормозила её в дверях. — Эй.

— Что?

— Люблю тебя.

Гурова усмехнулась и пошла в прихожую. Надевая пальто, она вспомнила, что забыла про бюстгальтер, но возвращаться в комнату не хотелось.

Консьерж дружелюбно махнул ей рукой.

Косые тени от домов лежали на тротуарах. Её слегка мутило, но вчера доктор, который ставит ей капельницы сказал, что это нормально. Детоксикация. Ещё неделя — и она не будет пить никогда. Ну или хотя бы десять месяцев, как в прошлый раз. Десять месяцев — это много. Это больше, чем нужно для того, чтобы выносить ребенка. А уж сколько текстов можно написать за это время.

Семь лет назад не Гуров, а она выскакивала из постели, чтобы доделать работу. А Гуров сидел в том же кресле и докапывался до неё с вопросами. Потом Гуров попёр. Когда много работаешь — рано или поздно ловишь волну. Она тогда радовалась вместе с ним: Гуров шёл в гору, они планировали ребенка. Ей нравилось, когда он в компании говорил:

— Эта женщина сделала меня тем, кто я есть.

Когда стало понятно, что детей у них не будет, Гуров стал реже говорить эту фразу. В этом была логика. Потом Гурова сама стала кричать ему это в лицо, когда они приходили с вечеринок. Она видела, как жалко это выглядит. Гуров тоже видел. Но они прощали друг друга.

Гурова купила замороженную лазанью и апельсиновый сок. И ещё сливки для кофе с изображением счастливого семейства и коровы на заднем плане. Отец, мать, двое детей разного пола и корова. В любую семейную идиллию непременно должна втиснуться какая-нибудь корова.

— Хорошая фразочка, — хихикнула Гурова. — Надо записать.

Неделю назад она написала рассказ. Очень хороший рассказ после долгого перерыва. Показала его парочке друзей, они подтвердили, что рассказ вполне.

Тогда она послала его в журнал «NN», тот самый, который когда-то первый опубликовал подборку её текстов, и публикация имела успех. Ответ пришёл подозрительно быстро. Рассказ отклонили с какими-то idiotскими объяснениями. Типа: «Что-то такое мы уже печатали». А потом оказалось, что у них в редколлегии сидит та самая толстая Шухевич, которая ухитрилась проделать путь от простой наборщицы-верстальщицы до редактора. Видимо, она умела не только петь.

В детстве Гурова тоже мечтала стать певицей. У неё был красивый голос, но она иногда не попадала в ноты. Можно было позаниматься вокалом, и все ноты стали бы на место. Но зачем такие сложности, если было множество других вещей, которые давались совсем легко. Какое хорошее слово «легко».

Она вернулась и взяла с полки бутылку шампанского. Всё равно скоро придет доктор и вычистит из её крови эту дрянь.

Музыка

Перевалов пьёт пиво из баклажки и каждые полчаса, виновато улыбаясь, удаляется в покосившийся дачный сортир. Это раздражает маму. И Ларису, новую жену Перевалова. Впрочем, не такая она и новая. Просто мы с Переваловым не виделись больше десяти лет.

— Жара, — говорит мама, вытирая пот над губой. — У меня все цветы засохли.

— И у нас, кивает Лариса. — Растила хризантемы Володе в школу — так все листочки свернулись.

Володя, милovidный сын Перевалова и Ларисы, сидит тут же, вжавшись спиной в скамейку и уставившись в смартфон. Глядеть на него смешно. Он — честная середина между белокурым Переваловым и армянской Ларисой.

— Как поют-то, — Перевалов возвращается из туалета и, ополоснув под краном большие руки, втискивается третьим на скамейку. — Трение же обычное, скрежет — а как звучит!

Перевалов снова подливает себе в стакан пива. Лариса с ненавистью смотрит на пузырящуюся струйку.

Перевалов — запойный алкоголик. Так сказала его первая жена Любка двадцать лет назад. Перевалов был тогда ещё молодым, с золотистой бородой и пронзительно голубыми глазами. Мастерская находилась недалеко от нас, прямо в квартире, куда он переехал из деревни с Любкой и маленькой дочкой, которая вечно гостила у бабушки. Мы с мамой любили заходить к нему вечером. Перевалов был приветливый хозяин и талантливый рассказчик. В город переехал недавно. Его знакомства не без помощи моей мамы ширились. Вскоре частым гостем в его мастерской стала одна светская дама со связями, кандидат технических наук. Появлялась она в отсутствие жены, которая работала медсестрой и дежурила в больнице сутки через трое. На полотнах Перевалова появился новый тип женщины с большим задом и маленькой острой грудью. Женщина со связями скупала полотна с женщиной с задом. Любка посменвалась и уходила на дежурство. Пока женщина со связями не зашла совсем далеко и не принялась носить во время посещения Любкин халат. А однажды взяла и срезала с халата все пуговицы. Бедный Перевалов никак не смог это объяснить. Это был одно из самых нетривиальных, но очевидных доказательств измены. Чувствовалась крепкая научная база. Всё-таки женщина с учёной степенью — это женщина с учёной степенью.

Перевалов был изгнан из семьи и перекочевал в квартиру к женщине со связями. Несмотря на связи, квартира была маленькой и захламлённой. Помимо самой женщины, там обитали её мать и её старшая сестра-пианистка, стоящая на учёте в психдиспансере.

За полгода Первалов был изучен вдоль и поперек. Новых содержательных срезов и пластов, кроме уже известных, обнаружено не было. Он пил, плохо зарабатывал и стал повторяться, изображая женщину с большим задом и острой грудью. «Ибо женщина, она не только бездна, но ещё и предмет», — говорил Первалов. Сторон у предмета было не так много, как могло сначала показаться.

Заполучив женщину в кресле, женщину у окна, женщину летящую, женщину, пьющую кофе, женщину лежащую, женщину с флейтой и женщину с виолончелью, женщина со связями отправила Первалова в его маленькую загородную квартирку, которая досталась ему после стремительного развода и размена квартиры-мастерской.

Там Первалов начал пить и спокойно без истерик гибнуть, но его нашла Лариса.

— До какого числа выставка? — спросила мама.

Лариса была художницей, и они с Перваловым выставились вместе. Поговаривали, что Лариса талантливее.

— Ещё неделю, — Первалов шумно допил пиво. — Один хрен ничего не продаётся.

— Место плохое, непроходное, — сказала мама.

— Это да. Но и на проспекте ничего не покупают. Картины никому не нужны, — буркнул Первалов.

— А сколько стоят «Жёлтые цветы»? — спросила я.

Натюрморт с жёлтыми цветами я видела на выставке. Это был шедевр.

Первалов посмотрел на меня ласково:

— Тебе за пять отдам.

— Аствац им! — Лариса потемнела лицом.

— Тот большой жёлтый натюрморт?! — переспросила я.

— Да. В воскресенье можешь забрать.

На мой взгляд, это была лучшая его работа. Лариса смотрела в пол. Первалов — мне в глаза. Я вспомнила то, что не хотела вспоминать. Как однажды, спасаясь от дождя, забежала к нему после университета. Он напоил меня, продрогшую, чаем. Я никак не могла согреться, и он налил деревенской наливки. Себе и мне. Потом спросил:

— Хочешь, рисовать тебя научу? Это легко.

Я взяла длинную кисточку. Он взял мою руку в свою большую ладонь и стал водить прямо по нарисованной уже, свежей картине.

— Испортится же! — испугалась я.

— Лучше станет.

Он развернулся, посмотрел своими синими глазами, золотая борода защекотала мне щёку.

Голый Перевалов был гипсово бел и так грубо слеплен, что наводил скорее на мысли о силе тяжести и трения, чем о любви. На меня напало оцепенение. Перевалов, который, похоже, всю жизнь имел дело с более расторопными девицами, тоже растерялся. Мы неловко повозились минут пятнадцать как два прыщавых восьмиклассника.

— Тебе надо развивать эрогенные зоны, — сурово констатировал Перевалов и принялся искать свои трусы на полу среди тряпок, перемазанных краской.

— Такие чёрные, с ромбиками, — твердил он. — Помоги!

По классике сюжета в дверь должна была позвонить моя мама или его жена. Но никто не приходил. И Перевалов, натянув трусы и усевшись напротив, принялся твердить, что теперь обязан на мне жениться. Что я очень молода и толку от меня как от женщины пока никакого, но это ничего. Он пойдёт к моим родителям завтра же, просить моей руки. Я представляла Перевалова в трусах с ромбиками, идущего просить руки к моим родителям, которые старше его всего на пять лет. Я представляла их вопросы, и как позорно вскрыется сегодняшнее происшествие.

— Не надо ничего просить! — сказала я.

— Почему?

— Ну не было же ничего, чего просить?

— Руки.

— Зачем?? Вы женаты.

— Разведусь.

— Зачем?

— Чтобы сберечь твою честь.

— Вы её и так сберегли.

Перевалов грустно задумался.

— То есть ты не хочешь, чтоб я просил твоей руки?

— Нет!

Уже потом у Перевалова появилась женщина со связями.

Мы держались легко и остались друзьями.

— Я куплю её за восемь, — сказала я.

Лариса посветлела лицом.

— Говорю же — пять, — нахмурился Перевалов.

— Не переживай, у меня есть деньги, — сказала я.

Глаза Перевалова стали тяжёлыми.

— Хлеб закончился, — сказала мама, накрывая на стол.

— Съездишь? Как без хлеба есть.

Я встала, взяла со стола ключи. У машины меня догнал

Перевалов:

— Коньяка возьмёшь? Армянского.

— Возьму.

Он попытался сунуть мне деньги.

— Не надо, это будет в счёт картины.

— Спасибо, ты — прелесть!

— Не за что, Перевалов-джан.

Перевалов приблизил лицо и цепко смотрел своими холодными глазами в мои:

— Хорошие цветы, да? Вряд ли что-то лучше напишу.

— Напишешь, конечно. Если что — я тебе эту верну, — отшутилась я.

— Если что, — повторил Перевалов.

Потом засмеялся, потрепал меня по плечу. Медвежьей походкой пошёл к столу. Я вспомнила, как десять лет назад его двоюродный брат, весёлый деревенский парняга, взял и разрядил дробовик себе в голову. Перевалов сам белил после похорон потолок.

Жёлтые августовские поля мелькали по сторонам. Картинки из прошлого всплывали в памяти.

Задумавшись, я пропустила поворот к ближайшему магазину. Я доехала до следующего, но и там мне не захотелось сворачивать с дороги. Она бежала к горизонту, к нарождающемуся месяцу.

Тёплые сумерки ложились на поля, и цикады как невидимый божий хор скребли шероховатостями, стачивая самих себя. Цикады пели. 

Ванкок Семёнов

Девочка из Катманду

Горы и снег. Солнце. Вечером холодно. Глаза как у лисы, китайская лиса, крадётся, нет, неожиданно возникает. «Кто ты?» — шепчу, но нет ответа.

Ночь. Какие здесь в Норвегии тихие ночи зимой. Открываю окно на кухне, холодный воздух врывается прямо в моё сердце. Почему я проснулся в пять часов утра? Как далеко Непал, как всё это нереально.

Мои руки на столе, немного трясу стол, маленькая пальма на нём тоже трясётся. Почему мы собираем грибы — сушим их, это специальные грибы, такие же как лисички, но чёрные. Биргита долго чистит их перед сушкой, а летом выкидываем. Поэзия во всём, что меня окружает, в этой чашке с синим драконом, она просто льётся через края, а я думаю, как долго я не поливал цветы. Совсем не знаю, как их поливать, то поливаю их каждый день, то забываю и поливаю через месяц. Время, в котором я живу, всегда разное и непонятное, совершенно не то что на часах.

Взял в библиотеке большой атлас, чтобы ещё раз внимательнее разглядеть Катманду. Даже картину нарисовал — женщины на коленях, а рядом собаки лежат и ходят. Есть ли там река, а вот — *Sitt Kosi*, совсем рядом с Катманду, но это на карте, а в реальности, может, несколько дней добираться.

Не могу представить, что она видит из своего окна. У меня река Глума и автозаправочная станция и мост за ней через речку. Что же она видит из окна? Может, она открывает окно, а там заснеженные верхушки гор, звёзды, может быть, луна. Воздух такой же, как у меня — холодный, но совсем другой, прозрачный до невозможности. А что она ест на завтрак?

Совершенно другой мир. Невозможно представить, что вот она сейчас в Катманду свернулась калачиком и спит, а горы безмолвно смотрят ей в окно. Она переворачивается на другой

бок. Кто-то невидимый стягивает чуть-чуть с неё одеяло, голая нога и грудь. У неё чёрные волосы и спортивная фигура, чтобы жить в Катманду, наверное, нужно быть сильным человеком. Но она же летом пьёт, просто напивается в стельку, она же сама говорила. Просто не верится. Что же там пьют? Рисовую водку? Как бы я хотел напиться вместе с ней и валяться где-нибудь под забором в Катманду.

Напиться в Катманду в стельку и валяться под забором. Всё, я больше здесь не пью, просто противно сидеть в баре, пить пиво и болтать, болтать и пить, пить и всё равно как в Катманду в стельку не напиться. А если и напьёшься, тоже совсем неинтересно — ну, упал на дороге и лежишь пьяный.

Закрываю глаза, снег падает крупными хлопьями и покрывает всю землю толстым слоем, где-то ходят люди со снежными колпаками на головах.

Открываю глаза — светит солнце, оно всё освещает, но есть тени, и мы в тени.

Я поставил чайник и жду, когда закипит вода, буду пить чай, долька лимона лежит и ждёт вместе со мной горячей воды.

Невозможно смотреть на мою кружку, такая она красивая, красная с синим драконом на одной стороне и с зелёной птицей на другой, между ними жёлтый круг, и по всему фону разбросаны цветы.

Как не хочется окружать себя красивыми вещами, но они берут меня в плен своей красотой, лишая реальности и заполняя мою жизнь дешёвой поэзией.

Когда я был маленький, мама везла меня из бани домой зимой на санках. Я был так укутан, что не мог даже пошевелиться, свободными были лишь глаза. И вот наплывает из темноты свет — это фонарь. Глаза мои смотрят в небо — оно звёздное, фонарь уплывает куда-то, выплывает другой. Потом, наверное, я засыпаю.

Рассыпанный бисер, разноцветные тряпочки, маленькие солдатики, я лежу на полу пьяный, пытаюсь их передвигать, руки не слушаются, опьянение накрывает тёплой волной.

Так редко смотришь на свою комнату с этого ракурса, только когда валяешься пьяный на полу. Все вещи приобретают

другие свойства, становятся новыми, неизвестными... Я никогда раньше не видел свой стол так, снизу. И окно, и люстру.

Вчера на барахолке купил половичок старый, именно такие по моим представлениям лежат в Непале. В действительности всё, конечно, иначе, не хуже и не лучше, а просто по-другому.

Зажёг курильницу, тибетские зелёные палочки пахнут костром.

У каждого человека небо над головой, но сколько людей, столько и различных небес, а оно всё равно одно, и его вообще нет, а есть облака, а небо, что это?

Фигурка Будды: она странная, такой поп-арт, но разрисована удачно. Красивая. Всего сложнее будет расстаться с Буддой. Увидишь Будду — убей его, учат дзен-буддисты. Как я понимаю главного героя из «Жертвоприношения» Тарковского. Собрать всё в доме — и старую карту, и красивый альбом с репродукциями икон, и японскую музыку — поджечь всё и сам дом, всё, что мешает быть по-настоящему свободным. Свободным от красивых вещей. Для чего? Для того, чтобы валяться под забором и смотреть на звёзды, как в детстве на проплывающие фонари. Но всё на самом деле просто, нужно просто уйти, не надо ничего поджигать. Пусть всё будет. Захлопывается шестигранная стеклянная коробочка с пеплом.

Парусник под всеми парусами несётся по морю. Молодой капитан спит и видит сон. Снится ему девочка в Непале, у неё чёрные волосы и белые зубы. Интересно, есть там телефоны? Может, попросить у неё номер. Так хочется услышать её голос. Нужно подождать.

У меня ничего нет из Непала, кроме безрукавки, подаренной приятелем. Он был и жил в Катманду.

Почему я в своё время не расспросил его о Непале? Разговаривали о чём угодно, но только не о Непале. Он норвежец и лет пять болтался в тех краях, а в Индии заболел сразу и дизентерией, и гепатитом одновременно, и его вывезли военным самолётом в Норвегию, здесь и спасли.

У безрукавки блестящие пуговицы с лотосами, и она такая основательная, на всю жизнь. Белые домики за мостом, осве-

щённые солнцем. Проснись, капитан, выйди на палубу, твоему паруснику недолго жить, впереди опасные рифы, разлетится твой парусник в щепки. Но крепко спит капитан и видит сон, и снится ему девочка в горах. Девочка когда-нибудь превратится в старуху и будет говорить низким голосом, дымя папиросой: «Когда я жила в Катманду...» Но это будет ещё не скоро, а сейчас она катается на скейтборде, пьёт водку и валяется под заборами, что совершенно невозможно представить.

Себя пьяным под забором представить могу, но её никак. Неужели она и матом ругается? Нужно её спросить. Если да, то разорву всю эту писанину на мелкие кусочки. Как же тогда жить на белом свете? Кручу калейдоскоп с разноцветными стёклышками... Перекатываются, переливаются различными цветами. Сухие кусочки фруктов с орехами. Паутина в лесу, а сквозь неё свет. Маленький странный пруд в лесу с лилиями и тёмной водой. Старый скворечник на земле, полусгнивший, поросший зелёным мхом. Я отреставрировал его, сделал новую крышу из маленькой черепицы, пошёл прибивать его к дереву, что растёт рядом с моим домом, надел старую куртку, взял стремянку. Биргита идет сзади, боится. «Не бойся, — говорю я, — на дереве же нет таблички *Privat*, и потом — меня попросили».

«Кто?» — спрашивает Биргита. «Не знаю, птицы, наверное», — отвечаю я. «Так хорошо им будет жить в тихом скворечнике, должно быть», — думаю я, приколавывая его к дереву. Каждый раз выходя из дома и заходя в него, я его из окна не вижу, я смотрю на скворечник в надежде увидеть там птиц, но их нет.

Я пьяный. Наливаю водку «Абсолют», пойду дальше пьянствовать. Где вся романтика? Вчера пили, сегодня продолжаем... Пойдём в бар, попробую свалиться где-нибудь по дороге, интересно, что подумает Биргита.

Валяюсь. Биргита пинает меня. «Вставай, пьяная скотина», — сказала бы русская. Биргита ничего не говорит, просто пинает. Не знает, что сказать. Как всё противно, нельзя поваляться на улице. Кто-то идёт, смотрит на нас, Биргита что-то пытается говорить, улыбается.

Всё в диком запустении, везде валяются носки и пустые бутылки из-под пива. «Надо попробовать баночное питьё», — думаю я, но покупаю бутылочное. Вечером опять напиваемся в стельку в баре.

Бар, куда мы ходим, совсем обычный, для обычных алкоголиков. Когда я совсем напиваюсь, мне перестают наливать, и приходится уходить в другой, такой же, он совсем рядом.

Всё время крутится какой-то тип, всё время пьяный, невероятно худой и высокий. «Он здесь работает, — говорит Биргита. — Датчанин».

Утро, вчера пили водку, я продолжаю. Биргита бежит в туалет и блюёт, я наливаю рюмку за рюмкой и пью. С кем я пойду сегодня в бар? Биргита не хочет. Говорит, что деньги на карточке кончатся. «Как же так?», — мямлю я. А как же сегодня? Мы что, будем здесь валяться на диванах и смотреть это NRK1? У нас старый ТВ, и мы не покупали лицензию. Приходил какой-то тип и спрашивал что-то. Биргита сказала, что у нас нет ТВ. Не смотрим мы ничего, мы пьём.

«Девочка из Катманду» пишет мне, что она работает менеджером среднего звена. Что это? А как же забор и тому подобное, выбросить это из головы, пойду дальше пить.

Напился. По дороге домой упал два раза. Девочка написала непонятно что. Она разучивает какие-то сложные повороты или прыжки на скейтборде, пишет о том, что, разучивая сложные, она забыла простые, и что у неё, наверное, маленький мозг. Отвечаю: «Купи мощный компьютер, раз мозг маленький».

Она присылает в ответ одни знаки вопросов.

Сегодня в первый раз почувствовалось приближение весны, светит солнце, поют птицы. С девочкой я переписывался по интернету, как только задал самый простой вопрос — что она ест на завтрак — сразу же связь прекратилась. Девочка из Катманду перестала мне писать. Эта история закончилась, другая пока не началась. Но зато пришла весна, а за ней лето. Холодное норвежское лето, наверное, такое же, как в Катманду. 



Алина Витухновская

Звери на фабрике грёз

Одни звери привели других зверей на фабрику грёз
и говорят: «Жизнь прекрасна. Искусство оправдано.
Есть горячая вода». Но другие звери всё равно ушли.

Звери на фабрике грёз.
Ненадёжная фабула. Мель
воспоминаний. Удочка. Паста. Пост-
скриптус, который выдохнула форель.

Фауст ушёл, смутившись. «Фас» —
сказали собаке, ткнув на щепотку звёзд.
Если это ещё не фарш, то фарс —
звери на фабрике грёз.

Внутри себя не заглянешь — тьма.
Неудобно тело — то хвост, то нос.
Зеркало жмёт. На конце ума
скриптус идёт на пост.

Шмель шелестел на занозах шпал.
Улитки о липкий утёс
разлетались. Сей фейерверк витал
над вывеской «Фабрика Грёз».

Зверям творог и бутерброд,
коктейль, кальмар и кокос
или сокос (наоборот)
в бар официант принёс.

Звери уходят туда-сюда,
вкривь и немного вкось.
Сокос выпит. Фауст в пода-
рок уносит с собой кокос.

Домашних мальчиков...

Домашних мальчиков сомнительные сны.
Герани жёлтые пленительных кошмаров.
Постельных шорохов тревожные удары
По сжатым челюстям упорной тишины.

Ода верблюду

С миллионного года до нашей эры,
Когда я не была и не буду,
Ты поёшь человекоподобную песню зверю,
Оду верблюду.

Может, где-то и впрямь параллельно бредёт верблюд,
Соблюдая дистанцию между-и-между.
Но его по слову также не узнают,
Как чужую смерть по своей одежде.

Конечесветие от кутюр

«Смотри», — ты мне пальцем ткнула, — «Это новое время года.
Осень». Я видела только, как черепаха панцирь свой поглотила.
Всяких погод была очевидней мода,
да и та уже уходила.

«Конец XX века» — уже не скажешь, скорее конец
Времени. Просто Конец Времени. Без шуточек декаданса.
Времени года нет. Времени нет.
Остаётся пространство.

Где как хриплая пасть рвался центр города,
Атрибуты столетья заглатывая постепенно,
Там стояли мы, наблюдая модного,
Последнего модного, уходящего за горизонт манекена.

А карличек закапывал *Zippo* и «паркеры»
Бездумно (так смерть не ищет причины)

И мчался в космос из супермаркета
Последний в мире модный мужчина.

Мы занемели, страхом тужась
Нечеловеческого напряженья.
И нагая, прошла сквозь ужас,
Последняя в мире модная женщина.

От бога, от дьявола, друг от друга
Тщетно ждали подарка или подачки.
Мы стояли мёртвые от испуга.
Шли манекены от Версаче.

Совета жаждали от Папы Римского,
От Чебурашки, Маркса и Фрейда.
Но явь наполнилась внеисторическим
От Лагерфельда.

Где город весь рвало по центру,
Где мертвецы бросали тень его,
Там шли мутанты люминисцентные,
Там шли мутанты от Бартеньева.

От сюрра культуры шли. Окултный подум.
Открылась подлинность, лишаясь культур.
Сиюминутное, секундномодное
Конечесветие от Кутюр.

Другая какая-то Родина

Другая какая-то Родина,
Чужая кошмарная мать.
Любого Зигфрида и Одина
Здесь каждый желает предать.
Мерцание камеры газовой.
И догвилли вместо вальгалл,
И вместо Европы — Евразии
Хохочущий смрадный оскал.

Ты станешь наркозно-нетрезвого
Средь хищных огромных стрекоз.
Ты бросишь меня, ибо брезгуешь
Любовью, как истинный монстр.

Я словно мангуст в дегустации
Твоих неразборчивых уст.
Есть благостность в сей имитации,
В пустой констатации чувств.
В механике совокупления
Ценю безысходности нерв.
Преступником в пре-исступлении,
Преступный паду кавалер.

Как мох махаонистым хохотом,
Кошмарной улиткой скрутись.
Ты в лишнюю матрицу похоти
Мою не утаскивай жизнь!
И вылечи сверхчеловечье
Влеченье! Калеча — калечь.
Мы станем частицами речи.
Ты вычистишь русскую речь.

Твоя револьверно-венерность
И трепетность нервных манер.
Ты вся формируешь инферно,
Как фэшн иной Люцифер.
Ты вся — дьяволица, убийца,
Ты тянешь в последний аид
Того, кто посмеет влюбиться
В кошмарное дно Атлантид.
В обличье русалки утянет
Его королевична дна.
И в мёртвые склизкие сети заглянет
Холодная злая луна.

Борис Марковский

Случайные строфы

Зима всю ночь рисует на стекле
фламандские тяжёлые узоры,
дремучие норвежские пейзажи,
суровые готические крыши,
украшенные инеем и даже
порою пишет вязью в уголке,
объединив два разных алфавита,
слова на арамейском языке,
уже не помня, видимо, иврита.

* * *

Ветер. Ночь. Забор. Качели.
Снег. Чугунная ограда.
Я стою почти у цели —
в трёх шагах от снегопада.
Лампа светит еле-еле,
гаснет без предупреждения...
Я стою почти у цели —
в трёх шагах от поражения.
На стене — фарфор из Гжели,
сувениры из Торонто...
Я стою почти у цели —
в трёх шагах от горизонта.

Новогоднее

Проснуться ночью на веранде,
нацупать под диваном хенди,
поговорить с Махатмой Ганди
или глотнуть немного бренди,

и, к рюмке наклонившись резко,
вдруг вспомнить об Отце и Сыне,
или вернуться к Ионеско,
что мирно дремлет на камине.

Входите, лысая певица!
Уже звучит «Полёт валькирий»...
Что только ночью ни приснится
в чужой неприбранной квартире.

* * *

Прощай, просодия ветвей!
Мне больше музыки не надо.
Над бедной родиной моей
звучит мелодия распада.

Прощай, забытая свирель,
я слышу музыку иную,
она за тридцать земель
колеблет ось и твердь земную.

Поэты

Эмилю Голубу

Друзья, прошу, не исчезайте,
не уходите насовсем,
стихи печальные читайте
или отрывки из поэм
и говорите, говорите
ночь напролёт, пока звезда...
Но только сердце мне не рвите,
не уходите навсегда.

Дорожные зарисовки

* * *

Кто там с ветром говорит,
звук роняет горловой?
Гуттаперчевый Майн Рид,
всадник с плёткой дождевой...

Звёзд рассыпанный конвой,
словно гравий — по песку.
Дождь июньский дрожжевой
уместившийся в строку.

* * *

Это осень, нырнув за калитку,
разбросав по околицам хлам,
примеряет двустволку навскидку
и стреляет по чёрным стволам.

Проступает из тьмы позолота,
погружается в золото лес.
Выплывает из-за поворота
ярко-красная кромка небес.

* * *

Всё больше склоняюсь к молчанию...
Осенние торжества!
Растерянно и печально
с деревьев летит листва.

Серебряной стала трава.
Всё реже, всё как-то нечаянней
роняю чуть слышно слова
и вновь погружаюсь в молчание.

* * *

Уже не верю ни словам, ни птицам,
ни горьким снам, ни горькой тишине,
ни музыке, что скоро прекратится,
но до сих пор ещё звучит во мне...

Пригород

I

Невзрачные дома,
неровные заборы
не помнят моего лица.
Здесь жили проститутки, воры —
вино и драки без конца.

И я, как гость иногородний,
приехавший из дальних мест,
иду к знакомой подворотне
и дальше — в нищенский подъезд.

И сотни европейских улиц
мне не заменят той, одной,
где мы навеки разминулись,
случайно встретившись с тобой.

II

Здесь дом стоял, а там стоял сарай.
Я приезжал нечасто, раз в полгода.
В те времена ещё ходил трамвай
от кладбища до молокозавода.

Всё как тогда — сажусь в пустой вагон,
не торопясь, талончик отрываю,
гляжу на двух задумчивых ворон
и жизнь свою зачем-то вспоминаю.

III

Кусты крапивы вдоль забора,
заросший жимолостью сад...
Я знаю, что вернусь нескоро,
хоть я ни в чём не виноват.

А память — Альфа и Омега —
уже рисует на холсте
подобье ангельского снега
на позолоченном кресте.

Памяти Мандельштама

*27 января 1837 года в районе Чёрной речки состоялась дуэль
между Пушкиным и Дантесом.
27 декабря 1938 года в лагере «Вторая речка» умер Осип
Мандельштам.*

I

Церковная хрупкая свечка
горит и горит, не сгорая...
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая.

Монету — орёл или решка —
подбросил, со смертью играя...
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая.

Плохая, должно быть, примета —
играть рукояткой узорной
упавшего в снег пистолета
на речке январской и чёрной.

Нечаянный выстрел, осечка
и эхо вороньего грая.
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая...

II

Не чуя огромной страны,
он бредил ключом Ипокрены
и видел кровавые сны —
грядущие казни, измены.

Он был собеседник ничей.
И вот отыскалось местечко —
болотистый мутный ручей,
Вторая, декабрьская, речка.

Янина Ахх

Демоны Клары

Какого хрена мне досталась Клара? Это засада — её в любом случае понесёт.

Я выдохнула, принимая неизбежность. Ещё немного глубоко подышала, пытаясь отогнать этот морок. Если я удержу расслабленность, Клара ничегошеньки не сможет испортить. Главное, не дать ей себя загнать. Выдыхай, выдыхай, выдыхай! И выдохнула:

— Давай так: я думаю, будто ты одержима. То есть я тебя нерввирую, и вот когда ты взрываешься или как ты там реагируешь, я такая: «Ба! Да в тебя демон вселился! Не подходи!»

— Ну не знаю как-то... Может, лучше я буду расисткой? «Приехали в нашу страну, так соблюдайте правила?»

— Да брось! Гарантирую, «Изыди, сатана!» — это писк!

И я демонстрирую Кларе, как могу пройти по палитре священного ужаса — от негодования до подлинной паники. Забралась на подоконник, осеняю себя крестом, воплю в окно, и всё на таком гротеске а-ля Калигари. Клара дёргает меня:

— Лучше я вызову медсестру. Или припугну тебя!

— Клара, у нас тут сейчас полгруппы будет вызывать медсестру. Демоничностью мы хотя бы фактуры наши подчеркнём. Роскошная драматическая ситуация для тебя! Вот как ты с неадекватом будешь справляться?!

— По-моему, это нас куда-то не туда заводит.

— А по-моему, у нас этюд на эскалацию. Давай попробуем, кого бояться? Действуй из момента!

— Ну, если тебе уж так сильно хочется..

— Ладно, а у тебя какая фишка? Может, будешь подпевать какому-нибудь поп-трэшаку в наушниках? А я такая: «Нельзя потише? Мне прописан покой! Уважать соседей по палате вас, видимо, не научили?» Или ещё лучше! Давай я, типа, сплю, у меня эротические фантазии, я: «А-а-а, м-м-м-м-о!» Ты вты-

каешь наушники, чтобы перекрыть мои стоны, напеваешь своё дешёвое немецкое, я просыпаюсь, и такая: «А вы вообще не забылись?»

Мы прикидываем дальнейшее развитие сцены по шагам, строим себе больничные койки из матов для йоги. Пластаемся на этих матах и тянем-потянем друг друга по сцене. Мисс Оригинальность Клара приносит ворох подушек, чтобы бросать в меня, и прикидывает свои ахи-охи. Как обычно, она сильно вытягивает шею, прямо выкорчёвывает её, как пенёк. Подхватывая этот импульс, на невидимых пружинках стремятся вперед её глаза. Бля, ну почему я не успела соединиться в другую пару? Зацепилась за эти её пружинки.

Клару все избегают, а я её побаиваюсь. Однажды «работала» с ней упражнение — надо было десять минут смотреть друг другу в глаза. Молчать. Пока её пружины — они рыболовными крючками заканчиваются — раздирают мои глазные яблоки. Саму Клару на каждом эмпатическом задании разбивают рыдания. Она ревёт и впивается крючками. Я тоже всплакнула. Как-то даже сладостно. Было приятно быть мною — такой мудрой, доброй, просто вселенской матерью, чьё спокойное тепло переливается в её колючие испуганные птичьи зенки. «Не бойся, Кларочка, посмотри, вот же какая я заземлённая, и ты успокаивайся, не трепещи...»

— Ты многое пережила, я увидела твою боль. Я чувствую духовную связь с тобой, как с сестрой, — на фидбэке выпаливает мне Клара и сдавливает в своих мускулистых ручищах. Живот её втянут. Я дышу в потное плечо, будто уткнулась в ножку Буша. Нужно переложить опыт этого упражнения на этюд. — А давай-ка мы будем сёстрами, которые потерялись и вновь обрели друг друга. И вот при встрече у них, у нас, у сестёр, этот же эмоциональный ряд — узнавание, неверие, восторг!..

— Ага, давай мы на спасательной шлюпке у «Титаника»...

У нас нет слов, только «ты, ты, ты»... мы видим боль прожитого в глазах друг друга.

— А может, встретимся в лагере беженцев, у медпункта? Ты сидишь в очереди, я подхожу и спрашиваю: здесь доктор принимает? Ты слышишь мой голос, но боишься даже поверить.

Так больничная тема впервые проникла в наши с Кларой отношения. На том показе никакие боль и радость узнавания не считались. Было ясно только, что мы истерички. Клара зажимала меня, а я и вовсе выпала из ситуации, окаменела, испугавшись заразиться от неё и переиграть. Себя оправдывала тем, что не хотела подать безумице лишнего импульса.

— Клара, главное — «не скомкать», давай в этот раз мы будем постепенно раскачиваться. Чтобы даже драка в финале прошла все стадии — от пощёчины к тому, что ты вцепишься мне в волосы, потом, например, пинок или удар головой в живот, один падает, а другой на мате утаскивает его со сцены.

— Ну конечно! Действуем по аутентичным ощущениям, — Кларин энтузиазм опять таращит. Она разворачивает треугольник своего торса — такой мужской, он меня тоже пугает — как бы расчищая снежные заносы перед собой. Однажды я шекотнула её по животу, чтобы там рассыпались внутренние строшила, она тяжело засопела, увернулась. А ближе к ночи прислала мне сообщение: «Считаю важным сказать тебе, что мне было неприятно, когда ты дотронулась до моего живота».

Ледоходом с ветрилами Клара последний раз прикидывает маршруты по сцене. Притаскивает хромированную термкружку и выдыхает наконец:

— Я ещё водой тебя оболью!

Кларочка довольна, хочет со мной что-то важное дообсудить, но я, как обычно, сажусь за спиной педагога, чтобы накраситься, пока другие работают на сцене. У меня кастинг сегодня в три. Шансов мало — прослушивают в декадентский мюзикл о золотых тридцатых. Тогда мой фенотип в Берлине, прямо скажем, встречался редко. Зачем только приглашают? Я в бога поверю, когда кому-то здесь будет нужна героиня с восточным мистическим сексапиллом, а то и инфернальным шлейфом.

Успеваю навести стрелку на левом глазу, Клара выскакивает на сцену — кругляшок, треугольничек и конусы её тела — как фигуры в балете баухауса — подпрыгивают на пружинках. Пружины дышат остаточным трепетом и когда мы уже играем в спящих. Я неожиданно не могу придержать свои порывы в имитации оргазма, которым открывается наш этюд.

Однокурснички ржут. Нас несёт удивительный поток — всё будто бы уместно, гладко, ладно пульсирует. Вот только вытalkingивать меня из «палаты» Клара начала рановато. Мне приходится противостоять, держа вытянутые руки против её плечей. Клара решила осесть на колени. И тут со всей дури она бьётся затылком о пол и визжит. Я будто бы тоже отлетаю, высоко раскидывая ноги, натягиваю потешную гримасу, шлёпаюсь лицом к публике. И вместо смеха из зрительного зала слышу вопли. Жду пару секунд, разжмуриваюсь — хочу сказать именно так. Клара раскачивается как плакальщица на похоронах, зажимает голову руками, на пальцах и её сальных волосах кровь. Как будто акварельные капли — красное, бурое, бордовое расходится в них неравномерно.

Клара верещит, на голову ей как папье-маше лепят ком из серых бумажных полотенец, я отключаюсь с её волны. Это ведь не я её толкнула, я прекрасно помню, как эта ебанушка мотнула головой назад. И подушки она себе заранее подложила.

Кто поедет с Klarой в больницу? В свою театральную студию училка, от джобцентра подтянувшая на свой курс безработных с актёрскими амбициями, не собирается вызывать скорую. Её могут обвинить в несоблюдении техники безопасности. Вот и я свою технику безопасности не умею блюсти. Я никогда не отделаюсь от Клары.

— *Wir waren so drin! Aber voll drin waren wir!*¹ Ульрике сказала, это был мой лучший этюд, — в такси она трясёт меня. И в приённом покое, где я непонятно зачем докрашиваю второй глаз. А она сжимает свою термокружку, крови на её чёрной крышке не видно.

— Да, Кларочка, но тебе надо бережнее к себе относиться. Такое ощущение, что ты намеренно причиняешь себе вред. Вот выздоровеешь, и я покажу тебе, как правильно падать.

— Я умею, я ведь дзюдо занимаюсь. Зачем ты мне это говоришь? Не сомневайся, я умею. Ты что, не видишь, что я умею падать?

— Я верю, Кларочка, конечно, верю.

¹ Мы так вошли в роль! И просто охренительно вошли!

Я прокручиваю наш с Кларой диалог каждый раз, когда еду в автобусе по унылой кишке Урбанштрассе. В моей голове мы теперь обе говорим по-русски. В моей голове я навещаю её в лечебнице. 

Сергей Пронин

Поездка за кофе

Берлин представлялся Петру Михайловичу довольно заурядной копией сразу нескольких советских и немецких городов, которые какому-то сумасброду вздумалось сложить неаккуратной сеточкой вдоль берегов пары-тройки рек. Безусловно, очень сложно всей душой ненавидеть или желать полного и окончательного исчезновения целого города, особенно города, в котором живёшь и работаешь. Типичное свойство человеческой натуры: на какие ухищрения не идёт разум, чтобы доказать, что всё было решено правильно, и соглашаться на хлебное, но чуть менее перспективное место во Франкфурте-на-Майне было бы катастрофической ошибкой, которая могла окончательно и бесповоротно погубить всю карьеру. Поэтому он сделал всё правильно, поэтому он переехал в Берлин, поэтому он теперь откладывал на пенсию в два раза больше. На ту самую пенсию, до которой по законам и этой страны, и этого города оставалось ещё очень долго.

Однако Пётр Михайлович ничего не мог поделать с собой и желал, чтобы некоторые части этого города или хотя бы периодически исчезали, или пропали совсем. Он был вынужден передвигаться по городу в том же самом общественном транспорте, которым пользовались странные панки, люди с детьми или собаками, подозрительно осматривающие его пожилые немцы и не менее подозрительно косящиеся на него молодые люди и девушки. Порой он часами смотрел на себя в зеркало и пытался понять, ну что на его лице или в его одежде привлекает столько внимания. Но всё было бестолку. Ведь Пётр Михайлович очень хорошо себя знал и поэтому не видел в себе абсолютно ничего особенного. Остальное человечество, впрочем, тоже ничего особенного в нём не видело, но ведь этого Пётр Михайлович не знал.

Его небольшая квартирка в относительно новом доме на самой границе довольно хорошего, как ему говорили, района Пренцлауэр-Берг без проблем вмещала в себя всю его личную жизнь, которой, прямо скажем, было немного. Центральное место в этой жизни определённо занимала кофеварка. Возможно, некоторые люди улыбнутся, пожмут плечами, развернут свой кайт навстречу ветру или серф навстречу волнам, и скажут: «Этого не может быть», — но, поверьте, это действительно было так. Видите ли, варить кофе Пётр Михайлович умел очень хорошо, и это, пожалуй, единственное необычное свойство, которое он сам в себе обнаружил и даже немного этим гордился. Каждую вторую и четвертую субботу месяца Пётр Михайлович ездил на трамвае в довольно далёкий торговый центр, чтобы там, долго ходя по специальному магазину, выбрать тот самый, лучший кофе. Поскольку приготовление кофе было самым близким к тому, что Пётр Михайлович мог счесть талантом в самом себе, он никогда не запоминал названия сортов, которые выбирал, полностью полагаясь на своё чутьё. Продавцы магазина, которые уже знали его в лицо, конечно помнили, что каждый раз он выбирает одни и те же два вида, но охотно играли с ним в его игру, предлагали разные регионы и урожаи, а один раз даже решили на спор его запутать и предлагали всё что угодно, кроме тех сортов, что он брал обычно. Это был один из самых ужасных дней для Петра Михайловича, один из самых ужасных, которые он помнил, а помнил он довольно мало из своей жизни, подробно в его голове задерживались воспоминания только о текущей неделе. Он чуть было не уехал оттуда, полный уверенности, что пора либо отказаться от кофе, либо сменить магазин. Но того, что над ним пошутили, Пётр Михайлович тоже не знал. Практически сразу после того, как пять мятых евро перекечевали из рук в руки, ему были предложены его обычные сорта, и он уехал из магазина смутно довольный, хоть и несколько обеспокоенный.

И вот в один прекрасный августовский день случилось довольно ужасное происшествие, которое привело Петра Михайловича в жуткое замешательство. Кофе закончился раньше времени. Пётр Михайлович очень хорошо умел считать и не только в уме, ведь он работал в банке, как шутили о нём те, кто

считал его чем-то вроде странного знакомого. К сожалению, работа в банке далеко не гарантирует того, что человек будет хорошо считать, но это была его вторая неожиданная способность, которая позволила ему двигаться по жизненной дороге и получить ту самую работу и ту самую квартиру, о которой мы уже говорили.

Однако, обратившись к своему недельному архиву воспоминаний, Пётр Михайлович понял, что к нему явились несколько его коллег после неосторожно оброненной фразы о том, что они одно заведение в радиусе как минимум нескольких километров от его отделения банка ничего не смыслит в приготовлении кофе. Другие сотрудники, которые считали Петра Михайловича хорошим, но замкнутым сослуживцем, были настолько удивлены этой жизненной ремаркой, что несколько из них немедленно вызвались получить доказательства не только того, что бывает кофе лучше, но и того, что Пётр Михайлович в этом понимает.

Воспоминание об этом эпизоде заставило Петра Михайловича улыбнуться и даже испытать некоторую гордость. Коллеги явно оценили его мастерство и на следующий день на работе почтительно косились на него, в то время как он, улыбаясь, помогал какой-то молодой паре оформить кредит.

Запасы нужно восполнить безотлагательно, решил Пётр Михайлович, и отправился в обычный свой торговый центр по обычному своему маршруту. Всё прошло штатно, и вскоре Пётр Михайлович привычно ёжился и привычно прижимал к себе небольшой портфельчик из искусственной кожи, без которого не мог представить себя на улице, и бумажный фирменный пакет, в котором лежало по две упаковки его обычных сортов.

Неожиданно трамвай остановился, и вожатый объявил, что всем придётся выйти, потому что маршрут перекрыт из-за демонстрации. Пётр Михайлович вышел из вагона, чувствуя в себе то самое желание, которое он пытался постоянно подавлять, желание, чтобы отдельные части этого города просто взяли и исчезли. Не удалились из вселенной окончательно, может быть, перенеслись на другую сторону его города или там, например, в какой-нибудь ещё город, где Петра Михайловича нет. Другого маршрута домой у Петра Михайловича не было, и он решил пойти домой пешком.

Всего через несколько минут его начали догонять какие-то крики, а затем и толпа людей, которая, видимо, и была той самой демонстрацией, которой Пётр Михайлович всей душой желал скорейшей телепортации в любое другое место. Толпа выкрикивала лозунги, которые были непонятны и неприятны Петру Михайловичу. Они кричали о каком-то национальном единстве, о том, где и каким людям место, о том, что и о чём не жалеют. Пётр Михайлович хорошо говорил по-немецки, поэтому никаких сомнений по поводу значения этих криков у него не возникало. Толпа обхватила Петра Михайловича своими щупальцами и понесла куда-то вперёд, пока ему не удалось прижаться к какому-то зданию с колоннами. Река кричащих людей текла мимо него, а Пётр Михайлович смотрел на неё, судорожно сжимая в руках портфельчик и пакетик с кофе, и впервые в жизни испытал настолько сильное раздражение, что крикнул по-немецки: «Хватит нести чушь!», — и от самого звука своего голоса ещё сильнее вжался в стену. «Чё?» — неожиданно ответили из толпы. К Петру Михайловичу, отделившись от толпы-реки, приблизился странный неопределённого возраста человек в кожаной куртке. Он был с синими торчащими во все стороны волосами и в круглых маленьких очках, которые блестели на Петра Михайловича всей силой отражённого солнечного света. «Ты чё сказал?», — повторил человек, уже вплотную приблизившись к Петру Михайловичу. «Ты чё, хочешь продать Германию?» — осведомился человек. «Ты откуда вообще?»

Пётр Михайлович молчал и только, не отрываясь, смотрел на этого странного человека. Он очень хотел убежать, но повсюду был крик и гам, с содержанием которого Пётр Михайлович почему-то совершенно не мог согласиться. Он выдавал кредиты в банке и варил кофе. Он жил и работал в Берлине и даже не всем частям этого города желал скорейшего исчезновения. Он изо всех сил пытался пристроиться к тем, кто косился на него в трамвае, пытался онормалиться для них и мечтал когда-нибудь так же гордо и уверенно смотреть на других, как сейчас постоянно смотрели на него. Но сейчас, возможно, впервые в жизни Пётр Михайлович ощутил единство с другими

людьми. Не с теми, которые урюмо текли мимо него с криками, а с теми, кто, как он, ездит на трамваях и также чувствует на себе чужие взгляды. Его стандартная недельная память треснула и взорвалась цветными картинками, и он дрожащим голосом сказал: «Меня больше...» — «Что?» — переспросил синеволосый. «Меня всё равно больше, чем вас...» — повторил Пётр Михайлович, вызывающе выставив вперёд пакетик с кофе. Синеволосый коротко хмыкнул, двинул Пётру Михайловичу в солнечное сплетение и нырнул в людскую реку.

Пётр Михайлович осел на тротуар. Пакеты с кофе порвались, и его окутало облако слегка дурманящего запаха, который, наверное, и помог ему не отключиться. Какая-то тёмная рука вытащила его из этого облака и хорошенько встряхнула. Пётр Михайлович попытался сфокусироваться и увидел, что на него озабоченно смотрит чернокожий молодой человек. «Ты в порядке, чувак? — спросил он и, легко поставив Петра Михайловича на ноги, добавил, — пойдём-ка отсюда».

Пётр Михайлович не сопротивлялся, ведь это была частичка того самого мира, за который он очень неуклюже попытался поспорить. После пары зигзагов по внутренним дворам они вышли на параллельную улицу и зашли в какое-то заведение, которое, судя по запаху, было кофейней. «Вот и отлично», — сказал спутник Петра Михайловича. «Спасибо вам», — пробормотал Пётр Михайлович. «Сейчас, чувак, я сделаю тебе кофе. А ты ничего так, смелый. Меня, кстати, зовут Падди», — сказал, улыбаясь, его новый знакомый. Петра Михайловича ещё никто никогда не называл смелым. Это могло быть каким-то волшебным заклинанием, которое быстро подействовало, или Пётр Михайлович ещё не успел отойти от шока, но совершенно неожиданно для себя он сказал: «А можно я? Можно я сделаю кофе?» — «Хозяина не будет ещё час, валяй».

Пётр Михайлович благоговейно приблизился к огромной кофе-машине и запустил отдельно стоящую, как и следует, кофемолку. Пару секунд он стоял словно оглушённый, но сомнений не было, это был тот самый сорт кофе, один из тех двух, которые он несколько минут назад рассыпал на улице. Дальше Пётр Михайлович чувствовал только то, что может чувствовать человек, который видит очень хороший сон.

Через несколько минут они сели за одним столиком в пустом зале. «Пётр», — сказал Пётр Михайлович. «Ну, прост, Пётр», — сказал Падди и сделал аккуратный глоток. «Я никогда не думал, что из нашей старушки можно выжать такой нектар». Пётр Михайлович улыбнулся. Ему тоже показалось, что получилось неплохо.

«Слушай, Пётр, а что ты вообще по жизни-то делаешь? Нам нужен кто-то на нечётные дни. Клиентура постоянная, неплохие чаевые. Заманчиво?» — продолжал Падди, с наслаждением нюхая последние капли кофе на дне чашки.

Мир Петра Михайловича, перевёрнутый сегодня уже не однажды, замер в каком-то странном равновесии. «Да, — сказал он и, что-то прикинув, добавил, — Я могу начать через месяц». — «Такого волшебника можно и подождать», — сказал Падди и хлопнул Петра Михайловича по плечу. Пётр Михайлович улыбнулся и отправился к машине, чтобы приготовить ещё по чашке кофе. Тёмная жидкость медленно капала из рожка и наполняла мир заботливо извлечённым ароматом. 



Max Herrmann-Neiße

Lob des Mondes

Mitternacht ladet zu Gast die Gelähmten,
hat für die Blinden Früchte und Wein;
die sich des Leids vor der Sonne schämten,
hüllt sie behutsam in Mondenschein.
Fiebernde kühlt die Milch ihrer Sterne,
Stotternde singen mit ihrem Wind,
aus dem Geröll der verfallnen Zisterne
liebt die Verlorne ihr aussätzig Kind.
Bucklige, die sich mit Eifersucht grämten,
finden den Sesam, Götter zu sein —
Die sich des Leids vor der Sonne schämten,
gehn durch den Mond in den Himmel hinein.
Und der Taube, im Rauschen der Sterne,
lächelt, weil Hymnen im Herzen ihm sind.
Aus dem Geröll der verfallnen Zisterne
liebt die Verlorne ihr aussätzig Kind.
Daß aus den blutenden Wachtfeuer-Bächen
eine Hand seine Wunden berührt.
Stummgeborene glühn von Gesprächen,
in das Pathos der Wolken entführt.
Flüchtige Schwalbe die Hand des Gelähmten,
Blick des Blinden im spiegelnden Wein:
die sich des Leids vor der Sonne schämten,
gehn durch den Mond in den Himmel hinein.

Макс Герман-Найсе

Переводы: Сергей Страхов, Людмила де Витт

Хвала Луне

Полночь калеку к столу приглашает,
Сладким вином зазывает слепцов,
Всех, кто от солнца лучей убегает,
Кутает нежно в лунный покров.
Жар у пылающих звёзды остудят,
С ветром заики глаголят шутя,
Пепел души совесть разбудит —
Нищенка вспомнит родное дитя.
Жгучая ревность в горбом клубится:
Бога сыграть — сладострастный кураж.
Тем, кто дневного светила стыдится,
Путь в небеса через лунный пейзаж.
Будет глухой в звёздном шелесте буден
В сердце своём слышать гимны, грустя.
Пепел души совесть разбудит —
Нищенка вспомнит родное дитя.
Кто-то рукою коснётся в раздорах
Ран истекающих кровью бойцов,
Вечно немые сгорят в разговорах,
Слившихся с пафосом облаков.
Ласточка в небе — спасенье увечного,
Взгляды незрячего — в капле вина:
Тем, кто стыдится светила беспечного,
В небо дорогу укажет Луна.

Ewige Heimat

BEKANNTMACHUNG

*Auf Grund des Paragraphen 2 etc. etc.... erkläre ich im
Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen f
olgende Personen der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig:*

HERRMANN, MAX

geb. am 25. Mai 1886 in NEISSE

Der Reichs- und Preußische Minister des Inneren.

Wer mich zu entehren glaubte,
wenn mit frevelndem Befehle
er das Heimatrecht mir raubte,
ahnt die ewig lenzbelaubte
Heimat nicht in meiner Seele.
Da besteht in altem Glanze
heimatliches Bild und Wesen:
wieder auf besonnter Schanze
werden wir zum Frühlingskranze
uns die ersten Veilchen lesen
Wieder vor der Bergeskette,
die das Wiesental umwindet,
ist des Städtchens Silhouette,
und auf unserm Fensterbrette
Spatzenvolk sein Futter findet.
Mit gewohntem Wohlgeföhle
wandle ich bekannte Pfade
bei der alten Pulvermöhle
in des Wäldchens Schattenköhle
zum belebten Wellenbade.
Große Orte und geringe,
Ströme, Höhen, Äcker, Auen,
ernsthafte und heitre Dinge,
wenn ihr Wirkliches verginge,

Вечная родина

УВЕДОМЛЕНИЕ

*На основании параграфов 2 и т. д. объявляю, что по согласованию с господином Имперским министром иностранных дел нижеупомянутые лица лишаются немецкого гражданства: ГЕРМАН, МАКС
род. 25 мая 1886 года в г. НАЙСЕ...
Имперский и Прусский министр внутренних дел¹.*

Вы грозите мне изгнанием
В злобном рвении спесивом,
Обвиняя со стараньем —
Образ, родины желанней,
В моём сердце не найти вам.
Нет, он снова в прежнем блеске —
Образ родины незримой:
И в ближайшем перелеске,
И в фиалке, в птичьем треске,
И в венке моей любимой.
Где-то горы цепью тонкой
Обнимают грудь долины,
Где-то город дремлет томно,
А пичужки песней звонкой
Восхваляют вкус рябины.
С бесконечно нежным чувством
Я бреду знакомой тропкой,
Где ветряк крылами хрустнет,
Тень прохлады не отпустит
Над купальней в неге робкой.
Города и деревушки,
И просторы с птичьим пенем —
Дух природы и живущих,
Коль не будет больше сущим,

¹ Подлинное нацистское уведомление о лишении гражданства, которое получил Герман-Найсе и которое он использовал в качестве эпиграфа (прим. переводчика).

könnte noch mein Wachtraum schauen.
Schöner, als sie jemals schienen,
blieben sie mir im Gedenken,
machen mir verliebte Mienen,
und ich werde mich mit ihnen
immer wieder schön beschenken.
Was jetzt Gutes muss verderben
dem geknechteten Geschlechte,
wird noch lang nach unserm Sterben
laut mit meinen Worten werben
für die ewigen Heimatrechte.
Wer uns glaubte zu entehren,
wenn er heimatlos uns nannte,
sieht: die Heimat wird sich mehren
und die Seele nichts entbehren
derer, die sein Hass verbannte.
Ewig lenzbelaubt beglücken
wird der Traum uns scheinbar Tote:
lächelnd sehn wir von den Brücken
auf den Tanz der Wassermücken
und die Fahrt der Liebesboote.
Was man liebt, kann nie vergehen:
heimatlich vertraute Töne
überall uns treu umwehen;
denn die Heimat bleibt bestehen
in dem Lied verstoßner Söhne.

Станет нежным сновиденьем.
Вы в мечтах прекрасных стали
Навсегда моей Вселенной,
Мне улыбку даровали,
И забуду я едва ли
Ваш подарок драгоценный.
Пусть сегодня правят черти
И просвета не дожидаться,
Но и после нашей смерти
Мы вернём себе, поверьте,
Вечной родины гражданство.
Вам, кто нас теперь бесчестит,
Чужаками хочет видеть,
Не понять: страна воскреснет
В душах тех, кто с нами вместе
Отказался ненавидеть.
В нас, отправленных в забвенье,
Прорастёт мечта о счастье —
Мы воспримем с наслажденьем
Летних комаров гуденье,
Лодок тень, скользящих в страсти.
Нет, любовь не исчезает:
Милой родины напевы
Нас везде сопровождают,
Сердце грустью наполняют
Тех, кто изгнан был во гневе.

*Georg Heym***Der Gott der Stadt**

Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit
Die letzten Häuser in das Land verirrn.
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,
Die großen Städte knien um ihn her.
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.
Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik
Der Millionen durch die Straßen laut.
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut.
Das Wetter schwält in seinen Augenbrauen.
Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt.
Die Stürme flattern, die wie Geier schauen
Von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt.
Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust.
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt
Durch eine Straße. Und der Glutqualm braust
Und frißt sie auf, bis spät der Morgen tagt.

Der Abend

Versunken ist der Tag in Purpurrot,
Der Strom schwimmt weiß in ungeheurer Glätte.
Ein Segel kommt. Es hebt sich aus dem Boot
Am Steuer groß des Schiffers Silhouette.

Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald
Mit roten Häuptern in den Raum, den klaren.
Und aus der Schluchten dunkler Tiefe hallt
Der Waldung Ton, wie Rauschen der Kitharen.

Георг Гейм

Переводы: Анна Давидян

Бог города

Подставил лоб пронзительным ветрам
Смотритель гневный на высокой башне,
Взирая на окраины, а там
кончаются дома, темно и страшно.
И вечера алеющий живот
Сверкает в честь великого Баала,
Под колокольный звон свой хлеб жуёт
Покорный строй измученных вассалов.
Как корибанты в танце, словно тень,
Они идут по улицам парадом,
И труб фабричных жерла каждый день
К его ноздрям возносят едкий ладан.
Ночь настает, он мрачно брови хмурит,
На город падает седая мгла,
Внезапно разразившаяся буря
Расправила над ним свои крыла.
Он тьме мясистым кулаком грозит,
Он им трясёт. Внезапный шквал огня
Сжигает ночь и медленно горит
До наступленья призрачного дня.

Вечер

Над волной трепещет парус,
В алом море тонет день.
Над кормою показалась
Моряка седая тень.

Разноцветный лес осенний
Шелестит на островах,
Плеск загадочных течений
Тьме играет на струнах,

Das Dunkel ist im Osten ausgegossen,
Wie blauer Wein kommt aus gestürzter Urne.
Und ferne steht, vom Mantel schwarz umflossen,
Die hohe Nacht auf schattigem Kothurne.

Die Muschel schließt ...

Die Muschel schließt die offenen Silberschalen,
Wenn Kinder grausam sie zerstören wollen,
In sich zurück die zarten Häute rollen,
Tief in sich krümmt das Tier sich vor den Qualen.

Ich fühl es, wie mein Herz, aufs neu verwundet
Von deiner Hand, sich will der Welt verschließen.
In seine Kammern muß das Blut sich gießen,
Das kaum von bitterer Liebe war gesundet.

Doch, wie die Muscheln, die Verletzung litten,
Im Schoße formen den verlorren Saft:
Aus Leiden ward der Perlen Glanz erstritten,

So wuchs dies Lied aus einer bitteren Stunde.
Aus einer Träne ward dies Lied erschafft.
Und ich vergaß der kaum empfangnen Wunde.

Träumerei in hellblau

Alle Landschaften haben
Sich mit Blau gefüllt.
Alle Büsche und Bäume des Stromes,
Der weit in den Norden schwillt.

Blaue Länder der Wolken,
Weiße Segel dicht,
Die Gestade des Himmels in Fernen
Zergehen in Wind und Licht.

И она течёт с востока,
Как струя вина в бокал,
А поодаль одиноко
Ночь с луною правят бал.

Вмиг устрица захлопывает дверцы ...

Вмиг устрица захлопывает дверцы,
Когда её ломают злые руки,
А в глубине неслышно бьется сердце,
Укромно сохранённое от муки.

Так и моё израненное сердце
От мира укрывается порой
И отбивает бешеное скерцо
От боли, нанесённой мне тобой.

Как устрицы укромное нутро
Вновь производит жизненные соки,
и жемчуг в них возрастает как зерно,

Так песня создаётся в горький час.
Из милосердия её поют нам боги
И звуки дивные от боли лечат нас.

Сон в светло-голубом

Синий цвет вечерний —
Цвет моей мечты,
Он окрасил землю,
Реки и мосты,

В небе белый парус,
Горы-облака,
Ветер уплывает
Вдаль, за берега.

Wenn die Abende sinken
Und wir schlafen ein,
Gehen die Träume, die schönen,
Mit leichten Füßen herein.

Zymbeln lassen sie klingen
In den Händen licht.
Manche flüstern, und halten
Kerzen vor ihr Gesicht.

Robespierre

Er meckert vor sich hin. Die Augen starren
ins Wagenstroh. Der Mund kaut weissen Schleim.
Er zieht ihn schluckend durch die Backen ein.
Sein Fuß hängt nackt heraus durch zwei der Sparren.
Bei jedem Wagenstoß fliegt er nach oben.
Der Arme Ketten rasseln dann wie Schellen.
Man hört der Kinder frohes Lachen gellen,
Die ihre Mütter aus der Menge hoben.
Man kitzelt ihn am Bein, er merkt es nicht.
Da hält der Wagen. Er sieht auf und schaut
Am Straßenende schwarz das Hochgericht.
Die aschengraue Stirn wird schweißbetaut.
Der Mund verzerrt sich furchtbar im Gesicht.
Man harrt des Schreis. Doch hört man keinen Laut.

Вечер погружает
Нас в волшебный сон
Сам, в мечту влюблённый,
Засыпает он,

И звенят цимбалы
Нежно до утра.
Шепчут и танцуют
Тени у костра.

Робеспьер

Прикованный к телеге кандалами,
Изнемождённый, с пеною у рта,
Он яростно кричит, стучит ногами,
В его глазах зияет пустота.
На буераках он взлетает вверх,
И в такт толчкам скрипят его оковы.
Хохочут дети, и уже готова
Кровавой казнью насладиться чернь.
Мучительно его кривится рот,
Телега встала, и в конце пути
Он видит непреклонный эшафот.
«Вставай, не заставляй себя нести!»
Кричит расправы жаждущий народ,
А он молчит. Ему пора идти.

Heinrich Heine

* * *

Was treibt und tobt mein tolles Blut?
 Was flammt mein Herz in wilder Glut?
 Es kocht mein Blut und schäumt und gärt,
 Und grimme Glut mein Herz verzehrt.
 Das Blut ist toll, und gärt und schäumt,
 Weil ich den bösen Traum geträumt;
 Es kam der finstre Sohn der Nacht,
 Und hat mich keuchend fortgebracht.
 Er bracht mich in ein helles Haus,
 Wo Harfenklang und Saus und Braus
 Und Fackelglanz und Kerzenschein;
 Ich kam zum Saal, ich trat hinein.
 Das war ein lustig Hochzeitsfest;
 Zu Tafel saßen froh die Gäst.
 Und wie ich nach dem Brautpaar schaut —
 O weh! mein Liebchen war die Braut.
 Das war mein Liebchen wunnesam,
 Ein fremder Mann war Bräutigam;
 Dicht hinterm Ehrenstuhl der Braut,
 Da blieb ich stehn, gab keinen Laut.
 Es rauscht Musik — gar still stand ich;
 Der Freudenlärm betrübte mich.
 Die Braut, sie blickt so hochbeglückt,
 Der Bräutigam ihre Hände drückt.
 Der Bräutigam füllt den Becher sein,
 Und trinkt daraus, und reicht gar fein
 Der Braut ihn hin; sie lächelt Dank —
 O weh! mein rotes Blut sie trank.
 Die Braut ein hübsches Äpflein nahm,
 Und reicht es hin dem Bräutigam.
 Der nahm sein Messer, schnitt hinein —
 O weh! das war das Herze mein.

Генрих Гейне

Переводы: Соня Рыбкина

Сон

Что плавит кровь, рождает жар?
Объята пламенем душа,
И кровь кипит, и грудь в огне,
И страшный сон приснился мне.
 Бушует кровь и слышен звон,
 Приснился мне ужасный сон;
 Явился призрак ночи мне
 И за собой увёл во тьме.
И мы пришли в богатый дом:
Здесь гости праздны за столом,
Здесь лиры звук и блеск свечей,
И сладких вин течёт ручей.
 И я вошёл. Здесь свадьба, пир,
 Бокалов звон и глас любви.
 В невесте — Боже! — я узнал
 Ту, чьи уста я целовал,
Подругу юных дней моих!
Но незнаком был мне жених.
И тихо встал я позади,
На сердце — боль, и жар — в груди.
 И шум вокруг меня завлёл,
 И боль, и злость во мне разжёл.
 И взглядов жар, и смех гостей,
 Жених целует руку ей.
И он наполнил свой бокал,
Отпил — и милой передал.
Взглянул я, обмер и застыл:
Наполнен кровью кубок был.
 И в руки яблоко взяла,
 Ему с улыбкой отдала.
 Он режет плод: ты погляди,
 То сердце из моей груди.

Sie äugeln süß, sie äugeln lang,
Der Bräutigam kühn die Braut umschlang,
Und küßt sie auf die Wangen rot, —
O weh! Mich küßt der kalte Tod.
 Wie Blei lag meine Zung im Mund,
 Daß ich kein Wörtlein sprechen kunnt.
 Da rauscht es auf, der Tanz begann;
 Das schmucke Brautpaar tanzt voran.
Und wie ich stand so leichenstumm,
Die Tänzer schweben flink herum; —
Ein leises Wort der Bräutigam spricht,
Die Braut wird rot, doch zürnt sie nicht.

Die Lorelei

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
 Die Luft ist kühl und es dunkelt,
 Und ruhig fließt der Rhein;
 Der Gipfel des Berges funkelt,
 Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold'nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar,
 Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
 Und singt ein Lied dabei;
 Das hat eine wundersame,
 Gewalt'ge Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.
 Ich glaube, die Wellen verschlingen
 Am Ende Schiffer und Kahn,
 Und das hat mit ihrem Singen,
 Die Loreley getan.

И сладок, нежен, пылок взор,
Без слов их вёлся разговор.
Жених её коснулся губ,
И смерть моя явилась вдруг.
 Не стало слов, не стало сил,
 И, словно мёртвый, я застыл.
 Но танцы снова начались,
 И снова гости в круг сошлись.
В молчанье я смотрел на них:
Как ласки ей шептал жених,
Как покраснела вмиг она,
Вся нежности к нему полна...

Лорелай

И сердце в томленье тоскует,
И разум навеки пленён:
Мне душу и рвёт, и волнует
Легенда ушедших времён.
 А воздух над Рейном прохладен,
 Струится спокойно река.
 На солнце, как в пёстром наряде,
 Вершины блестят в облаках.
Красавица-дева сидела,
Над самою бездной склонясь.
Браслеты на солнце горели,
А волосы — золота вязь.
 Она их ласкает гребёнкой
 И чудную песню поёт.
 А в песне той, сладкой и звонкой,
 Мотив чародейский живёт.
Пловец на судёнышке малом
Охвачен безвестной тоской.
Взирает наверх, не на скалы,
И взгляд его полон мечтой.
 И, верно, коварные волны
 Его унесут в дивный край.
 Погибнет он, горько влюблённый,
 Погибнет от чар Лорелай.

Иван Толстой: Может, и благо, что Набоков не любил Берлин

В апреле 2019 года отмечалось 120-летие Владимира Набокова — писателя, чья жизнь в двадцатых-тридцатых годах была неразрывно связана с Германией и её столицей. Литературовед, филолог и историк Иван Толстой в интервью главному редактору «Берлин.Берега» Григорию Аросеву рассказывает об отношении Набокова к Берлину и Праге, о его «антиэмигрантстве» и разъясняет, почему Набоков так ни разу и не навестил могилы родителей. «Он не мог приехать в разорённую Россию, и он не мог вступить в разорённую историю», — говорит Толстой.

«Берлин.Берега». Уважаемый Иван Никитич, где, когда, при каких обстоятельствах вы не просто познакомились с текстами Владимира Набокова, а поняли, что он вам интересен как исследователю?

Иван Толстой. Это было в июле 1977 года в Ленинграде. Я стоял в комнате у открытого окна и набивал свою курительную трубку, а на подоконнике стоял коротковолновый радиоприёмник. Я слушал новости «Голоса Америки», в те годы или, по крайней мере, в тот момент «Голос Америки» не глушили. И диктор третьей или четвёртой новостью произнёс простым, банальным, дежурным тоном, что в Монтрё, в Швейцарии, скончался американский писатель русского происхождения Владимир Набоков. И тут во мне всё оборвалось, я почувствовал, что какой-то важнейший этап в моей жизни завершён.

Мне было всего девятнадцать лет, и почему я связывал со смертью Набокова завершение какого-то своего этапа — очень трудно сказать. Но в эту минуту я понял, что я буду о нём писать. Я сам не знал что и под каким углом, и вообще, сколько я знал или сколько понимал в Набокове, тоже сейчас, конечно, смешно — по прошествии сорока лет. Я до сих пор как будто пишу свою книгу о нём. Другой вопрос, что это книга уже почти закончена...

Но о Набокове вы знали? И читали его, вероятно?

Тогда мне вообще казалось, что я знаю о Набокове не так мало, да и сейчас мне думается, что в 1977 году девятнадцатилетний человек, в общем, обладал довольно приличным объёмом информации и мог бы даже собеседника в чём-то поправлять. А получилось так из-за того, что у нас в доме был Набоков, причём в тамиздатовских изданиях. Книги Набокова привозил мой папа¹.

К 1977 году у нас был почти весь русскоязычный Набоков, и я прочёл почти всё. Кроме «Других берегов»: эту книгу нам не вернули, как это говорилось — зачитали ещё до моего рождения, то есть до 1958 года. Мой папа съездил на ЭКСПО-58 в Брюссель и привёз оттуда несколько книжек. Отец был в ранге дипломата, с нужным статусом, обладал дипломатическим паспортом, и поэтому его «наши» не обыскивали, не шмонали.

Он привёз сборник рассказов «Весна в Фиальте», воспоминания «Другие берега» и «Дар». И «Доктора Живаго», к слову. Так вот, «Весну в Фиальте» то ли нам вернули, то ли просто мы никому не отдали, а вот «Другие берега» и «Доктора Живаго» у нас зачитали. С «Весны в Фиальте» я и начал знакомство с Набоковым. Мне было четырнадцать лет, я прочёл свой первый набоковский рассказ — «Адмиралтейская игла» — и совершенно запал на этого писателя. Я понял, что никто не идёт в сравнение с ним, и я больше не хочу никого читать.

Это была ужасная отравка, укус гюрзы, потому что это неправильно — начинать свою жизнь с Набокова. Набоков портит всё, он слишком сильный, слишком выразительный писатель, с него нельзя начинать. Бунина, который старше и в определённом смысле учитель Набокова, я стал читать после, свои пятнадцать, и Бунин показался мне «жидким Набоковым», что неверно.

¹ Никита Алексеевич Толстой (1917–1994), советский российский физик, доктор физико-математических наук, профессор ЛГУ. Старший сын писателя Алексея Николаевича Толстого (прим. ред.).

С кого вам было бы лучше начинать своё серьёзное чтение?

Нужно было с Достоевского начинать. Ну, Достоевского я тоже стал читать — после Набокова, и Пушкина после. К четырнадцати годам я читал «приключенцев» всяких, занимательную литературу, историческую, Конан Дойла, Вальтер Скотта, «Мастера и Маргариту» я прочёл, тоже, кстати, из-за границы привезённую. И у меня в чтении всё оказалось очень искорёженным...

Так вот, я как открыл для себя Набокова — так и умер, а потом умер Набоков в семьдесят седьмом. Но поскольку я уже всё, что мог, у него прочёл, я понял, что Набоков и станет предметом моих размышлений. Как хорошо, что я за эти годы мало что о нём опубликовал, ибо книга, которая сейчас у меня на подходе, — уже совершенно другая, не та, которую я собирался написать в двадцать лет, в двадцать пять, в тридцать и в сорок. Теперь я пишу другую книгу, хотя она уходит своими корнями в то, отроческое чтение.

Некоторое время вы жили в Париже, а сейчас, уже почти четверть века, живёте в Праге. Между ними лежит город Берлин. Какое лично у вас отношение к Берлину, не в контексте чьих-либо текстов, а лично ваше?

В Берлине я был минут сорок в своей жизни. В 1989 году я пересаживался с поезда на поезд. Я проехал в метро, пересел на вокзал в Восточном Берлине и уехал оттуда в Ленинград. На всё это ушло минут сорок. Больше в Берлине я не был.

Когда вы переехали в Прагу, вам не хотелось съездить в Берлин?

Хотелось, и до сих пор очень хочется туда попасть, тем более, что Берлин — совершенно родной для меня город, там жил мой дед Алексей Толстой, ну и, конечно, там жил мой любимый писатель Набоков... Но пока я туда не съездил. Вот так судьба вырисовывает наши лекала.

Владимир Набоков к своим тридцати годам знал и помнил петербургские реалии — старые, дореволюционные. Он, отучившись в Кембридже, неплохо знал и помнил британские реалии, что мы видим по некоторым текстам, таким как роман «Подвиг». Но живя в Берлине, он делал основным, хотя не единственным местом действия своих книг как раз Берлин, который, как принято думать, он не любил. Набокова ведь воспитали на англофилии, и было бы логичнее, если бы он писал про Петербург, про Лондон, Кембридж. Но его географический лейтмотив — Берлин, Германия, а все остальные места возникают эпизодически. Нет ли в этом противоречия с вашей точки зрения?

Внешнее противоречие есть, но внутреннего нет, потому что писал он его, в общем, с отвращением, стиснув челюсти и играя желваками. Берлин был самым сильным раздражителем в его жизни, всё-таки пятнадцать лет — это очень много. Это зрительный, слуховой и обонятельный удар для писателя — каждый день жить в городе, который не нравится.

Всё это — Берлин, немцев — не любя, можно, тем не менее, действие своих романов, своих героев помещать в эти координаты, и в них осуществлять ту идею, которую ты хочешь осуществить. Достоевский с ужасом относился к Петербургу, однако это место действия его романов, и каким бы скорбным, кошмарным, пропитанным миазмами ни был его Петербург, он больше всего подходил для воплощения его замыслов.

То же самое Берлин для Набокова — привычное место, которое знали его подошвы и знает его взор, и он брал это место и перерабатывал его. Чтобы что-то описывать, Набокову совершенно не требовалось специально любить это «что-то», механизм художественного преобразования работал у него иначе. Там стояла определённая призма, призма потери, поэтому он так сильно описывает Россию — она у него преобразуется через невероятное чувство утраты, и это чувство есть творческий фактор. Не будь у Набокова этой утраты, ещё неизвестно, получили ли бы мы вообще такого писателя Набокова.

Судьба сыграла с ним в такие страшные кости.

Хочешь быть «ностальгическим» автором — теряй, а

хочешь просто пописывать, — ну, тогда у тебя не будет драмы в твоей жизни, но ты никем и не станешь. Я часто вспоминаю фразу Солженицына из «Бодался телёнок с дубом»: «Кем бы я стал, не будь ГУЛАГа, не арестуй меня? А ведь стал бы». Он ведь действительно уже своё небольшое собрание сочинений написал в школьных тетрадочках до войны, даже ещё будучи студентом. Он стал бы писателем, но каким? Плохим.

Точно так же и Берлин. Если бы Набоков возобожал Берлин, стань Берлин любимым топосом для него, непонятно, смог бы он отойти на нужное для писателя расстояние.

Может быть, и благо, что Набоков не любил Берлин.

Возможно, вы в курсе, что в Берлине, в русском Берлине существует определённый набоковский культ. Оставим вне пределов внимания мысль, что каждый делает, что хочет, и имеет право на всё что угодно. Если по сути: не преувеличен ли этот культ? Имеет ли он право на существование? Ни к кому из бывших русских берлинцев нет такого безумного внимания, как к Набокову, — ни к Саше Чёрному, ни к Алексею Толстому, ни к Андрею Белому, ни к Горькому...

Набоков прожил в Берлине в три — в пять раз дольше, чем любой из перечисленных вами писателей. Саша Чёрный прожил почти три года, прочие — меньше. Но нельзя сравнивать масштаб Саши Чёрного и Набокова. Набоков — крупнейшая, величайшая фигура мирового масштаба. Его переводят на самые разные языки. Это фигура интернациональная, и, безусловно, это классик не просто двадцатого века, но и вообще всей мировой литературы. Поэтому то, что существует его культ, совершенно объяснимо.

Далее — ни у кого из названных вами писателей нет такого мощного германского присутствия в текстах, германского, берлинского — описания парков, собраний, людей, речи, немецких героев, озёр, лесов, лужаек, улиц, всего-всего. Тексты Набокова можно выжимать как мокрый купальный костюм, и Берлин будет вытекать из него. По внешним параметрам этот берлинский культ совершенно законен.

Это немного похоже на Прагу, где существует культ Аверченко — он гораздо меньше, но всё-таки есть. Или культ Цветаевой, очень распространённый. Не говоря уже о Кафке.

Мы постоянно говорим об отношении Набокова к самым различным вещам — сейчас, к примеру, о Берлине и Германии. Но ведь ещё была Вера, его жена. Как мы знаем, её письма ею самой уничтожены, осталось очень мало подтверждений её мнений. Остались ли какие-нибудь свидетельства отношения Веры Набоковой к Берлину, как минимум до прихода нацистов?

О каком-то специальном отношении мне неизвестно, но она с мужем всё время обменивалась какими-то непрямыми высказываниями. Думаю, что они, а прежде всего он, боялись при нацистской цензуре доверять бумаге.

Немного передвинемся на юго-восток. Была ли у Набокова какая-то особая связь с Чехией и Прагой, кроме того, что он там бывал у матери?

Особой связи не было. Он чуть высокомерно смотрел на Прагу, считал её провинцией, а литераторов, которые здесь жили, конечно же, видел совсем не равными себе, относился к ним примерно как к своему младшему брату Кириллу, который писал стихи и участвовал здесь в литературных кружках.

Ну, он почти на всех смотрел свысока, и на берлинцев, и на парижан — за исключением Ходасевича и Алданова.

Его многие в Праге приглашали, но это ничем симпатичным не закончилось, он с усмешкой общался с ними... Но дело в том, что у него здесь оставались «заложники» — сестра Елена и брат Кирилл. Поэтому здесь он сдерживался.

Он приезжал сюда только повидать мать, очень-очень на короткое время, и, как известно, совершил одну прогулку по пражским холмам с Мариной Цветаевой, а в целом общался здесь довольно мало. В свой последний визит в 1937 году Набоков был

² Елена Набокова, мать писателя, после гибели мужа как вдова белоэмигранта получила пенсию от чехословацкого правительства и в 1923 году переехала с младшими детьми в Прагу.

погружён в роман с Ириной Гуаданини, писал ей отсюда письма в Париж и получал здесь от неё послания до востребования на фамилию Корф. И гулял со своим маленьким сыном в парке Стромовка.

Часто ли Набоков приезжал в Прагу?

Точно не скажу, но это было два или три раза. У него была мысль выписать мать обратно в Берлин, но это не осуществилось, она всё время до смерти в 1939-м прожила здесь.

После возвращения в Европу из Америки Владимир Набоков ни разу не был ни в Берлине, ни в Праге, где похоронены родители. Может показаться, что это в большей степени эгоизм, а не реальная проблема, особенно с учётом того, что кладбище Тегель, где похоронен Владимир Дмитриевич Набоков, находилось в Западном Берлине, то есть туда можно было легко въехать из США или Швейцарии. Что таилось за нежеланием навестить могилу отца хотя бы один раз, хотя бы символически?

Я думаю, что за этим стоит та же самая невозможность, неспособность, психологическая и художественная неспособность вернуться в прошлое. В прошлое Набоков возвращался только в своём воображении: так же, как он не мог приехать в разорённую Россию, в разорённую географию, так он не мог вступить в разорённую историю.

Если бы кто-то из его родителей был жив, Набоков приехал бы, несмотря на коммунистический или какой-то ещё режим, он бы просто пересёк границу, приехал бы хоть в ад к ним, если бы они здравствовали. Но поскольку они уже умерли, он не мог вернуться в эту историю, для него на эти места был наложен какой-то определённый запрет, повторю, и психологический, и художественный. Он отрезал для себя прошлое и путешествовал по нему только виртуально.

Более того, это путешествие в прошлое, эта игра в прошлое, перестановка исторических кубиков стали для него художественным, литературным приёмом. Вот в это он и играл. Так был он устроен, иначе он не представлял себе своих взаимоотношений с памятью, с впечатлениями, с географией и с историей.

Ему не нужна была ни могила матери, ни могила отца, ему нужны были живые родители, и они вечно были живы в его памяти.

Откройте его книги, и вы увидите как они живы. Одна из глав «Дара» — гимн отцу, невероятный, просто невероятный. Каждый из нас мечтал бы, чтобы наш сын написал о нас такую главу, или, по крайней мере, вспоминал нас теми словами, которыми набоковский герой вспоминает своего отца.

В интервью «Эху Москвы» вы сказали, что Набоков был если не антинародным, то точно антиэмигрантским автором. В той беседе вы мысль не развили — поясните сейчас, пожалуйста.

Набоков шёл в противоречии течению русской мысли и чувствам русской эмиграции по отношению к основным темам, к основным задачам, которые писатели и вообще беженцы ставили перед собой. Что такое классический эмигрант в своих общепринятых параметрах? Это человек, который родился в России, тоскует по России и для которого основные русские традиции святы, то есть для него свята родина большая, свята родина малая, для него святы русские церкви, русские города, русский язык, «ерь» и «ери» на конце слова, яти и ижицы, русские реки, русская природа, русская кухня, православие — все те вещи, которые после изгнания, после того как новая власть целилась тебе между лопаток, пока ты убегал, уносил своего ребёнка и любимые фотографии родителей, стали навсегда неприкосновенными. Над ними нельзя пронизировать, их нельзя предать.

То, что сделал Набоков в своих книгах с Россией, с воспоминаниями, с русскими реалиями, было с точки зрения многих эмигрантов предательством. С набоковской точки зрения никакого предательства не было, он мог смеяться над русскими реалиями и находясь в России, и находясь в изгнании, где угодно. Перемещение через границу никаким образом не сказалось на его отношении к происходящему и к русским ценностям. Отец Набокова смеялся и презирал русские порядки в их мерзости, презирал ещё до революции, за что и сидел в тюрьме «Кресты».

И дал в газете объявление о продаже своего камер-юнкерского мундира: неслыханная дерзость, десакрализация придворного чина. То есть в их семье была эта традиция — если не фронды, то, во всяком случае, сохранения своего собственного независимого мнения.

В этом смысле Набоков был антиэмигрантом.

Он не молился тем богам, которым молилось его литературное окружение. Он был и здесь одинок: *«Остаюсь я безбожником с вольной душой, в этом мире, кишмящем богами»*³. Вот степень презрения и брезгливости Набокова к традиционным ценностям. Высокоморальнейший и высокодуховный человек, Владимир Набоков презирал ценности окружающих людей. Сам никаким образом не оскорбляя свои святыни, чужие святыни он часто считал пошлыми. Так он был устроен, я ни в коем случае не сужу и не спешу присоединиться ни к той, ни к другой стороне, я пытаюсь как исследователь холодно посмотреть и на бабочку, и на таракана.

Набоков так никогда и не примирился с советским режимом?

Да, как он сам сказал в стихотворении 1944 года:

*Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немного рабства — нет, о, нет,
ещё я духом жив, ещё не съят разлукой,
увольте, я ещё поэт.*

«Не покорюсь, не примирюсь» — а ведь очень многие эмигранты категорически разделились на два лагеря, первый составляли те, кто считал, что уж во всяком случае во время войны нельзя ничего осуждающего говорить о советской России, о Красной армии. И даже «Новый журнал», где печатался Набоков, занял отчасти просоветские позиции. Основанный в 1942 году двумя абсолютно антисоветскими эмигрантами

³ Стихотворение «Слава», 1942 г.

Марком Алдановым и Михаилом Цетлиным, «Новый журнал» во время войны не позволял себе ничего говорить против СССР, и даже антисоветские обертона, которые ввёл в один из своих текстов художник Мстислав Добужинский, редактор Роман Гуль вычеркнул. Во время войны осуждать Россию нельзя, нужно быть патриотом.

Набоков даже этой позиции не занял, он и там пошёл против этого мощнейшего течения русских эмигрантов. Хотя мы знаем, что были эмигранты-коллаборанты, но Набоков не был и им, он опять был вне всех, он занял уникальное положение: быть ни с кем.

Вы говорили, что у Набокова, Бродского и Пастернака было внутреннее чувство свободы, внутренний дар свободы. Это было одним из проявлений?

Совершенно верно.

Получается, внутреннее чувство свободы в нём пестовалось вопреки тяжёлым жизненным обстоятельствам, в которых он жил, по сути, до выхода «Лолиты», то есть до уже довольно почтенного возраста?

Абсолютно правильно, он всю жизнь был аристократом духа, а не денежного мешка и не придворного звания. Он был аристократом не земли, а неба.

Расскажите про свою набоковскую книгу — всё, что вы сочтете нужным и возможным. Она уже превратилась в некий миф: все набоковеды и набоковолюбители о ней знают и ждут её, но когда?..

Прошу прощения, не стоит раскрывать, что там будет, вы всё прочтете сами. Я надеюсь закончить её как можно скорее, потому что 40 лет писать книгу — это немного *too much*.

Без подробностей о содержании, но, может, есть сроки?

Нет-нет, тем более о сроках ничего не скажу. Когда я был молодой и неопытный, я думал и, самое главное, говорил о сро-

ках. И ни один срок я не выдержал. Я собирался выпустить эту книгу году в восемьдесят втором, наверное: думал о тамиздате. Потом наступила перестройка, и я даже стал говорить в каких-то интервью, что книга выйдет в восемьдесят девятом или девяностом. Потом я хотел её издать в 2000-м, уже поселившись в Праге, и с тех пор ещё девятнадцать лет прошло...

Нет, ничего не скажу о сроках, если буду жив — выйдет. А не буду жив — никто её не будет издавать, потому что она не будет закончена, и я постараюсь сделать так, чтобы незаконченную книжку никто не напечатал.

Я её пишу в своё удовольствие, вот в чём дело. Денег на этом никогда не буду зарабатывать. Как только я подумаю, что на ней что-то можно заработать, перо вываливается из рук. Работаю исключительно в своё удовольствие, больше ничего. И, может быть, поэтому мне жаль с ней расстаться, как «с Онегиным моим»: такое совместное путешествие по этой длинной-длинной дороге. Следить за мыслями умного человека есть наука самая занимательная, говорил Пушкин. Так что я слежу за мыслью, за образами Набокова, и мне этого хватает.

Ваши слова: «следить за мыслью Набокова». А мысли других? Следите ли вы за новинками набоковедения, за книгами?

Да-да, конечно. За всеми громкими книжками слежу, читаю, иногда с трепетом открываю, так как боюсь, что в каких-то моих находках меня кто-то может опередить — и тогда мне будет совсем горько. Но пока — слава богу, обходится, и я поражаюсь тому, что я, кажется, сумею донести до типографского станка то небольшое, что смог сказать своего собственного о Набокове. Ведь куда я ни загляну, всегда оказывается, что вот на эту поляну почему-то никто не хочет выбежать и пощипать травку именно здесь.

Есть ли какая-то книга или несколько, которые вы могли бы рекомендовать начинающему или опытному набоковолюбу?

Прежде всего, конечно, если читатель интересуется Набоковым, он должен прочесть его двухтомную биографию,

написанную Брайаном Бойдом, это классика-переклассика. Я очень люблю книгу Сергея Давыдова «Тексты-матрёшки Владимира Набокова», она была впервые издана в Германии, в Мюнхене, в 1983 году. Я не знаю, переиздавалась ли она в новейшее время в России, за этим я не уследил (*в последний раз переиздавалась в 2004 году в издательстве «Кирилли»*. — Прим. ред.). Это очень остроумная книга.

Ещё я очень люблю работу московского исследователя Андрея Бабикова. В 1990 году я выпустил сборник пьес Набокова⁴, но что я знал тогда об архивах? Ничего не знал, да и вообще в 1990 году я ещё жил в Советском Союзе. А Бабиков, поработав в нью-йоркском, в вашингтонском архивах писателя, более чем через пятнадцать лет после этого выпустил том пьес Набокова⁵ — уже полное издание, с комментариями, так что понятно, что его книга не просто толще, она гораздо компетентнее, она перекрыла мою стократно. Я очень ценю этого исследователя. Весной 2019 года, ко дню рождения Набокова, вышел толстый, на восемьсот страниц, том Бабикова, он называется «Прочтение Набокова»⁶ — такое каламбурное название, одновременное *про чтение и прочтение*.

Ещё есть прекрасный исследователь Набокова — Бартон Джонсон. Есть американец Альфред Апель. Я очень люблю, хотя и не совсем с ней согласен, книгу Бориса Аверина «Дар Мнемозины»⁷. В Выборге живет очень тонкий исследователь Михаил Ефимов. Не забудем также Владимира Александрова, Геннадия Барабтарло, Александра Долинина. Без них нельзя. 

⁴ Владимир Набоков. Пьесы. Составление, вступительная статья и комментарий И. Толстого. Москва, изд. Искусство, 1990 г.

⁵ Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. Предисловие, перевод и примечания А. Бабикова. Санкт-Петербург, изд. Азбука-Классика, 2008 г.

⁶ Андрей Бабиков. Прочтение Набокова: Изыскания и материалы. Санкт-Петербург, изд. Ивана Лимбаха, 2019.

⁷ Борис Аверин. Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. Санкт-Петербург, изд. Пальмира, 2016.

Юлия Вишке

По Берлину с Набоковым

Эссе

Я уже несколько лет жила в Берлине, прежде чем решила взять на свою прогулку по городу Набокова. Хотя его романы, рассказы, стихотворения уже давно были со мной. Много дольше, чем Берлин. Почему-то Москва, Париж, Нью-Йорк, Стокгольм появлялись вместе с писателями и их сочинениями. За ними хотелось ехать. Бродить по Парижу Хемингуэя и Ремарка, встречать день в Риме Моравиа, спешить в Петербурге Гоголя в театр, гулять под каштанами в Киеве Булгакова, смотреть на терракотовые спины стокгольмских крыш. Как получилось так, что за зачитанными до дыр русскими романами Набокова не хотелось в Берлин? Нет, даже не так — почему же вышло, что я их воспринимала вне какого-либо города? Просто в городе жили его герои, ждали поезда, разглядывали витрины, спешили на метро. Почему я знала, что это был Берлин, но в то же время это был какой-то бесполоый город?

Позже я искала причину в своей учительнице литературы. Во время моего отрочества она была дамой не молодой, но и не старой. Хотя тогда бы я сказала пожилая, а сейчас, живя в Германии, уже не скажу. В Берлин бы она вписалась — в своих летящих платьях, на которые косились коллеги, упакованные в бесформенные мешковатые и мешковатого же цвета костюмы безымянной фабрики. Но не только платьями, но и мыслями она подошла бы Берлину. Новое время она очень быстро проинтерпретировала отказом от отживших своё советских учебников. И в отличие от других, что держались за старые до тех пор, пока не появятся новые, радовалась отсутствию регламента и свободой в воспитании юных душ. К томам известных и ранее писателей она щедро добавляла и сочинения классиков, оставленных за скобками доперестроечного времени. Так мне стало можно написать работу о Клеопатре и проституции у Пушкина, а на уроках обсуждать Платонова, Бабея и Набокова.

Обсуждали героев, перипетии их судеб, изгибы истории. Иногда и место действия. Но в русской литературе было два главных городских места действия — Москва и Санкт-Петербург. Всё остальное меркло, превращаясь в бесплотную тень безликих нагромождений домов. Иногда мог вспыхнуть давней страстью по несбывшемуся Париж. А Берлин оставался декорацией, местом тоски по Санкт-Петербургу.

И я поехала в Петербург, такой близкий и уже до дыр засмотренный. В тот неуютный февраль, когда небо и земля сливались в одно полотно грубой бело-серой, палевой мешковины, лишь иногда открывая сизые, простуженные проплешины неба, мы с подругой и Набоковым в сумке обошли центр, заглянули в музей на Большой Морской. И не нашли Набокова. В комнатах был полумрак, натужная тишина, пахло осиротелой и душевной стариной. В голове звучало тургеневское «и все они умерли... умерли».

Я захлопнула книгу. Я захлопнула желание искать его следы в этом мире, который сам себя выкорчевал и перепыхал. Если нет того Санкт-Петербурга, то и набоковского Берлина, истерзанного бомбами и изувеченного Стеной, давно нет. Я решила забыть, что это был Берлин в романах и рассказах Набокова.

И уже много позже, исходив Берлин, я осознала, что часто за вот этой современной площадью прячется улица, на которой ничего не изменилось за сто лет — ни мостовая, обрамлённая мелкими «берлинскими» камушками, ни люди, которые по ней спешат с портфелями подмышкой, ни дома. «Нет, постой, были и 60-е годы двадцатого века, когда в «бомбовых дырах» между сухопарыми соседями прошлого строили таких, как я», — говорит широкотельный, по-простому улыбающийся геранями частых балконов дом, единственный на этой улице. Узнав Берлин таким, я набралась смелости, и снова открыла Набокова и нашла этот город. Не весь, что понятно, но нашла.

У Набокова было два Берлина. Первый — несколько месяцев в 1910 году и второй — 15 лет между 1922 и 1937. Первый — детский, лёгкий, полный удовольствий. И второй — неприкаянный, эмигрантский, чужой.

Первого больше нет. Совсем нет. Случайность или нет? Если на Большой Морской я видела хотя бы тени, то от Берлина даже их не осталось. Есть только воспоминания.

Впервые Набоков был в Берлине в 1910-ом. Тогда одиннадцатилетний мальчик провёл несколько месяцев в столице Германии с братом и гувернёром. Причина столь долгого визита банальна и одновременно изыскана — братьям выправлял зубы известный дантист. А между визитом к врачу были ролики и теннис, музей восковых фигур и пирожные, книги и музыка, бабочки и разговоры с профессором энтомологии. Ещё четыре года — и первая массовая война задушит в окопах Европу, в которой родился Набоков. Европу без границ, где врач может быть в Берлине, спектакль в Париже, море в Италии и кузены в Лондоне. И если бы не было той войны, то, может, остался бы и тот Берлин набоковских воспоминаний. И то отношение к Берлину — как к одной из остановок на карте Европы и жизни. Со своими прелестями. Когда ты свободен выбирать, где жить и как долго, разве не кажется нам тогда место пребывания милее?

Символично, но именно того Берлина детских воспоминаний и не найти на карте. Хотя и ездят по городу кремовые такси, но таксист, выучивший для экзамена назубок все десятки тысяч берлинских улиц, удивится, если его попросить отвезти на Цу-ден-Цельтен. Нет этой знаменитой улицы. И только здание Рейхстага, восставшее из руин, осенённое куполом новых идеалов и надежда, напоминает о том, что, пожалуй, раньше — до воздвижения правительственного квартала из стекла и бетона — оно здесь было не одно. И появилось здесь не первое за городскими воротами. На короткой, уводящий к сейчас уже несуществующим развлечениям Тиргартена Цу-ден-Цельтен жили писательница Беттина фон Арним и пианистка Клара Шуманн, скрипач и композитор Йозеф Иоахим и поэтесса Матильда Везендонк. Сюда приходили общаться о европейских судьбах Иван Тургенев и Александр фон Гумбольдт. Знал ли об этом одиннадцатилетний мальчик? Или это всё праздные вопросы?

Каждый исследователь творчества напишет, что он не любил этот город. В детских воспоминаниях о трёх месяцах в Берлине я не нахожу этой нелюбви. Может, потому что это

детство. Но мне кажется, что здесь большее. Детство не просто у Набокова было детством, оно было детством в той Европе до заката, до судорог первой мировой, до перекраивания карты, до победы национального над законным, до «видов на жительство» и нансеновских паспортов. И нет, я не хочу идеализировать Европу девятнадцатого века, у неё было много своих фурунуклов и невылеченных, постоянно нарывающих ран, а поезд истории в 1910-м уже неотвратимо нёс к большой катастрофе. Но всё же тот Берлин остался навсегда Берлином детства, Берлином до Первой мировой войны. И пусть всё ещё можно кататься на роликах в скетинг-ринге на бульваре Курфюрстендамм и разглядывать бабочек в магазине на Фридрихштрассе, есть торт «Мокка» или играть в теннис на публичных кортах, но уже в ином мире, который перешёл на марш, на неотъемлемое требование от каждого выражения приверженности только одной нации и культуре. И это не тот мир, который виделся из 1910-го.

Я закрываю воспоминания и открываю «Дар», самый большой берлинский роман. Между поездкой на такси к дантисту на Цу-ден-Цельтен и прогулкой через Хохмайстерплатц прошла четверть века. И если первой улицы сейчас, в двадцать первом веке, нет, то последняя площадь, то есть «растрёпанный перекрёсток, не совсем доросший до ранга площади» сохранился до мельчайших деталей. На площади Хохмайстерплатц действительно есть и церковь в обрамлении рододендронов, и детская площадка, и общественный туалет, и аптека. Нет лишь трамвая и трамвайного депо. И интересно, что именно трамваям Набоков предсказывал скорую кончину: «Трамвай лет через двадцать исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чувствую в нём что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. Всё в нём немного неуклюже, шатко. <...> Конка исчезла, исчезнет и трамвай, — и какой-нибудь берлинский чудак-писатель в двадцатых годах двадцать первого века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой техники столетний трамвайный вагон, жёлтый, аляповатый». Последний трамвай прошёл в Западном Берлине через тридцать лет в 1969 году и был отправлен на пенсию, оставив улицы окружённого стеной города двухэтажным «толстолобым» жёлтым автобусам,

а под ними — новому метро. Но трамвай в Берлине не умерли окончательно, вопреки предсказанию Набокова. Скрипя и кряхтя по старым рельсам Восточного Берлина, они дождались падения Стены и новой эпохи понимания городского пространства, где почти бесшумный и часто пугающий из-за угла длиннотелый трамвай будет ходить по центру новой столицы Германии и даже заглядывать на бывший Запад, но, наверное, больше никогда не пройдёт по той площади, которую пересекал каждый день Набоков.

Я читаю его рассказы, романы, письма, в которых портрет Берлина проступает с филигранной фотографической точностью. Вот он, Берлин, между двумя войнами. Не просто безликая столица какого-то государства, не просто город на карте. По строкам Набокова можно восстанавливать эпоху. Про что эта точность, как на старинных гобеленах, где ни одного стежка, ни одного неверного узелка? Про что она, если не про любовь?

Или стоит зайти с другой стороны и спросить, что такое любовь к городу. Или даже что такое любовь. Моя учительница литературы вечно напутствовала быть осторожным со словом «любовь». Нельзя любить маму и вишнёвое варенье. А маму и Берлин можно? Или Берлин — и город вообще — из категории «вишнёвое варенье»? И является ли любовь достаточным оправданием того, чтобы быть поэтом города?

Набоков не любил Берлин. Сложно любить что-то, что появилось в твоей жизни не по твоей воле. И сейчас все экзистенциалисты, выросшие там же, в руинах старой Европы, возопят про выбор, который есть всегда — кончая прыжком в Ландверканал или пулей в лоб. Не будем радикализировать. Помимо любви к какому-то месту может ещё быть любовь к жизни и трагедия всего происходящего в мире, ломающая жизнь. Если просеять нелюбовь к месту, то может остаться любовь к жизни. В остатке бо́льшая, чем то, что в сите: «Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времён, находить в них ту благоуханную нежность, которую почувют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной»

— как написал сам Набоков в рассказе «Путеводитель по Берлину».

Идти за Набоковым по Берлину. Снимать слой за слоем берлинскую историю прошлого века, которая нанесла столько песка, земли, осколков жизней и судеб, что другому городу и за пятьсот лет не досталось. И где-то, где сменилось прохождение улиц, ушли в прошлое дома, кажется, что нет того Берлина, который был знаком Набокову, что Берлин своими руками сделал из себя Атлантиду. А где-то стоишь, как в раскрытом романе. И будто не изменилось ничего. Не было всей берлинской истории прошлого века, а жизнь лёгкой тележкой не спеша катится по улице, подпрыгивая на стыках гранитных плит — «свиных животиков». И кажется, что Набоков выйдет из-за угла. Идти за Набоковым по Берлину — соединять один опыт и другой в большой и очень берлинский рассказ. Ведь Берлин всегда жил и живёт в прыжке: здесь подчёркнуто современное, даже футуристическое сочетается с подёрнутой паутиной стариной, которая пусть и не древняя, но кажется инопланетной на фоне нарочито новых улиц, возникших на зарубцевавшихся шрамах города.

Я открываю один за другим набоковские русские романы, его берлинские романы. Я иду за ним по этому городу. Всякая мелочь — от пышной сирени на Груневальдштрассе до белой U на синем фоне, указывающей на вход в метро, от тёмно-блестящих улиц, уходящих в бурю берлинскую ночь, до мигания фонаря под липовым цветением — отзывается нежностью. И вся жизнь этого города между двумя мировыми войнами со всеми её изьянами, неустроенностью и попытками не тосковать по старому отзываются грустью и желанием тщетно спросить «как?» и «почему?». На которые даёт и не даёт ответы Набоков. 

Нелли Шульман

Июль

Эссе

Экономные берлинские дрозды разгуливают по заваленным хламом пяточкам пожухлой травы рядом с дышащими жаром кафе. Птицы ругаются из-за выброшенных кусков заветренных булок, порхают над воняющими урнами. Беспощадное солнце цепляется за шпиль телебашни, осеняющей покрытую радужными разводами тёмную воду Шпрее.

Берлинский пот, как и во времена Набокова, крепок и духовит, но в рассветном, набитом рабочим людом вагончике городской железной дороги запах ещё не так заметен. Окна жёлто-красного ковчега открыты, мимо проносятся сонные перелуки.

На сиденьях шуршат бумажными пакетами, рассыпая вокруг крошки. Зажав в зубах кусок колбасы, пышная девушка пытается одновременно накрасить ресницы. Родинка у верхней губы испачкана помадой, под синевато-карими глазами залегли глубокие тени. Вагон встряхивает на стыке, Клара промахивается. Щёточка оставляет на нежном, выбритом виске слегка размазанную отметину. Проглотив колбасу, она торопится к выходу. Двери с шипением закрываются.

На её место усаживается суетливый, худенький пассажир. Водрузив на острые колени потёртый по углам дешёвый портфельчик с какой-то выставки, он достаёт изжёванную газету. Его светлые, редкие волосы растрепались, правую брючину ещё охватывает велосипедная резинка. Алфёров с упоением читает статью о будущей экспроприации квартир у крупных монополистов рынка жилья.

Поезд идёт из западных пригородов. Пассажиры, уставшие со вчерашнего вечера, дремлют, воткнув в себя наушники. Юноша, висящий на поручне, роняет на меня каплю хумуса из неряшливой лепёшки. Из его пухлых левантийских губ торчат

остатки помидора. Запах пота смешивается с ароматом специй, он переминается на мускулистых ногах танцора. Нос у него не припудрен, однако чёрные волосы даже с утра блестят от лака. Юноша громко жуёт. Нарочито смахнув с плеча каплю, я поднимаюсь.

Извинений в Берлине дожидаться сложно. Я и не собираюсь их получать от Колина или Горностаева и не собираюсь ждать, пока поезд, миновав безлюдную станцию Савиньи-плац, просыпающуюся позже девяти утра, остановится под стеклянными сводами Цоо. Платформу Шарлоттенбурга-Вильмерсдорфа осаждают толпа.

Дав на прощанье тычка парню с испачканными хумусом губами, я вываливаюсь на перрон.

Набоков, скорее всего, ездил этим маршрутом каждый день, посещая частных учеников. Неприятный русский пансион Ганина тоже стоит рядом с железной дорогой. Западная ветка проходит по самому телу города. На кухнях, за накрахмаленными занавесками, гремят поезда. Выходя из ванны, обнаруживаешь себя лицом к лицу с работягами, едущими на восток, чтобы пропасть в водоворотах Цоо и Фридрихштрассе или быть поглощенными выжженным солнцем зевом Александерплац.

На западе жара пока не вступила в свои права. Бабушки с кудельками тащат по бульжникам Кантштрассе тележки для покупок.

На ветхих поводках семян толстые, кудлатые берлинские собачки. Городское жите выработало породистую беспородность кривых ног и хвоста бубликом. Бабушка останавливается у турецкого овощного развала. Собачка, чёрная почти такса с седой мордой, натянув поводок разлохмаченной струной, жадно лакает воду из бронзового ложа фонтана. Лидия Николаевна Дорн покупает фунтик пачкающей руки бордовой черешни.

Жара усиливается, ратушные часы Шарлоттенбурга отзванивают восемь утра. Вдалеке плывёт в мареве силуэт железнодорожного моста. Вагончики из оливковых стали жёлто-красными, но стук колёс остался похожим, как никуда не делась пахнущая духотой и полиролью антикварная мебель,

выставленная у лавки старьёвщика. Обросшие пушистой пылью вазы громоздятся на обитом пластиком кухонном комодe, с остатками переводных картинок сорокалетней давности. На крутящемся табурете раскинула ноги уродливая кукла с разбитым носом. Дрозды на тротуаре перекликаются, склёвывая рассыпанное старьёвщиком зерно.

Он дремлет в пока закрытом магазинчике, склонившись над заляпанной жирными пальцами витриной с поддельными часами, с заросшей патиной бронзовой жабой чернильницы. Жара не отменяет вязаного жилета с роговыми пряжками, криво застёгнутой клетчатой рубашки. Если бы не потерянная пуговица, Антон Сергеевич Подтягин был бы совсем опрятен. На витрине разложен «Русский Берлин». По неожиданно парижской остроконечной булке, с торчащими из её нутра кусками сыра, гуляет муха.

Подтягин сопит носом под разлохмаченным объявлением: «Скупка золота, часов, драгоценностей. Хорошие цены на месте. Мы работаем для вас с 1923 года».

Набоков в то время жил неподалёку. Почти увидев его в мутном зеркале, среди завалов ломаных стульев, я неловко поворачиваюсь. Растревоженные птицы встают на крыло, я вхожу в ленивого голубя. Прикосновение птицы к человеку ещё гаже, чем прикосновение насекомого. Дрозд с жёлтым клювом, раскачиваясь на краю урны, соболезнуя, трещит мне что-то вслед.

На противоположной стороне улицы, действительно, стоит Набоков, вернее, похожий на него юноша в грязных, когда-то белых кедах и потрёпанных джинсах. Серая майка успела пропотеть. Он ведёт за рога надменный, дорогой на вид велосипед.

Машинка ухоженно, сыто блестит цепями, сзади прикручено детское кресло. Пухлое дитя дремлет, зажав в кулачке жёлтый автомобильчик. Мышиный бельгийский экипажик плавно плывёт по мостовой, растворяясь в жарком ветре, завевающем вихри пепла и тополиного пуха. Велосипед звенит, юноша смущённо улыбается. Дитя не просыпается, смежив нежные веки, видя во сне что-то неуловимое, словно бы призрак крашеной серебрянкой гоночной машины, несущейся по тротуарам Куда.

Велосипед, его седок и слуга пропадают за углом. Липы на моей улице истекают прозрачным соком. Сладкий запах витает над не тронутыми солнцем кронами, но вокруг щётки антенн на черепичных крышах уже золотится сияние утра.

Подмышки промокли потом, впереди маячит высокая, крашеная охрой дверь подъезда.

О этот миг, когда, сунув руку в сумку, позвенеет горсткой монеток на дне, не обнаруживаешь убаюкивающей надёжностью, покалывающей пальцы связки ключей — цепи, приковывающей берлинца к его дверному замку. 

Григорий Аросев

Бесконечный набоковский день

Эссе

Двадцать пятого июля, очень ранним утром, я вышел из своей берлинской квартиры и пошёл в направлении метро. Путь лежал в аэропорт Тегель, что на северо-западе города. В разведённые времена Тегель обслуживал именно Западный Берлин.

Выходить мне нужно было на станции «Курт-Шумахер-плац». Но ещё три совсем коротких перегона — и была бы остановка «Хольцхаузер штрассе». Оттуда пешком метров шестьсот до Русского православного кладбища. Там похоронен Владимир Дмитриевич Набоков, отец писателя, убитый в Берлине в марте 1922 года. Его сын, конечно, бывал там и после похорон.

От аэропорта минут пятнадцать автобусом (в другую сторону) и десять пешком — и вот она, Несторштрассе, дом 22. Последний берлинский адрес Владимира, Веры и Дмитрия Набоковых — именно оттуда Вера с сыном в середине января 1937 года уехали в Париж. Другие набоковские адреса в Берлине примерно там же, район Набоковы почти не меняли, а на одной из улиц — Луитпольдштрассе — даже ухитрились пожить дважды, несколько месяцев в двадцать пятом и почти три года с 1929-го по 1932-й.

Я вышел на «Курт-Шумахер-плац», думая обо всём этом. Пересел в автобус, доехал до Тегеля. Рейс 963 авиакомпании *Swissair*, вылет в 6:55. Курс на Цюрих!

Полёт я провёл в водянистом сне. Об аэропорте, дороге до центра Цюриха, короткой прогулке по его центру в ожидании поезда можно было бы рассказать, но это к теме не относится, ведь стремился-то я в Монтрё.

Монтрё!

Волшебное слово, вам не кажется?

Впервые я его услышал ещё в школе, когда никаким Набоковым не пахло — зато пахло группой *Queen* и Фредди

Меркьюри, которая чуть ли не половину своих альбомов записала в студии в Монтрё. Побывать там мигом стало моей заветной мечтой — куда там Остапу Бендеру с его Рио-де-Жанейро. Мечта крепла, зрела, но сбываться не спешила. Я бывал много где, но Монтрё оставался недосягаемым местом.

А потом начался Набоков. Вначале просто как загадочный автор, потом как предмет дипломной работы (я учился на театроведческом и писал о его пьесах). Потом как писатель, которому я безвольно (но, к счастью, недолго) подражал... Потом... Потом... И вот много лет спустя я оказался в Берлине и почти сразу соорудил себе путешествие в Монтрё — возможности наконец догнали желание.

...Помимо прочего, я огромный любитель табличек с названиями городов. Чуть было не брякнул, что я их «собираю», но увь, подобному хобби следует посвятить буквально всю жизнь (и весь бюджет). Поэтому я делаю фотографии табличек с вокзалов и аэропортов, где побывал сам. В отношении моего хобби Европа чаще всего необычайно уныла и однообразна — порадоваться факту прибытия в новый город можно, но выделяющуюся из общего ряда табличку на вокзале встретишь редко. В Германии всё до крайности непривлекательно, Швейцария — не исключение. Белые буквы на синем фоне — таким был Цюрих, такой была Лозанна, где я делал пересадку...

И вот Монтрё. Первое, что я увидел — табличка. Точнее, просто название. На вокзальном здании из белого мрамора (конечно, на самом деле из чего-то другого, но сразу захотелось поверить именно в мрамор) были высечены элегантные, с засечками, буквы: *MONTRÉUX*. Господи, неужели доехал?

От вокзала до берега буквально три минуты пешком. Невыносимое блаженство — вдыхать ароматы Женевского озера. Да-а, Набоков и Меркьюри знали толк! Это же почти Ялта, по запахам точно, пейзажи, правда, поспокойнее.

Лето, темнеет поздно, но и по времени ещё далеко до вечера. Куда идти? Конечно же, к отелю «Монтрё-Палас». К тому самому, где жили Набоковы почти все семнадцать лет, которые прошли после их возвращения в Европу из США.

Кстати, о Набоковых (о множественном числе).

Вот мы часто говорим: Набоков отказывался приобретать своё жильё, ограничиваясь съёмными домами, а в итоге оказавшись вообще в отеле — в том самом «Монтрё-Палас» (другой вопрос, что набоковский съют был, конечно, мгновенно превращён в квартиру, но сути это не меняет — отель). Да, Владимир не хотел привязывать себя к собственности. А Вера? Её мнение по сей день остаётся в тени, чтобы не сказать — для нас вообще не существует, пусть она сама и внесла огромный вклад в это, уничтожив свои письма.

Я подобрался к отелю и долго ходил вокруг памятника Набокову, который стоял чуть поотдале от здания. Рядом с писателем — сплошь музыканты (Сантана, Арета Франклин, Рэй Чарлз). Набоков сидит, чуть раскачиваясь: передние ножки стула чуть приподняты. Он облачён в костюм, но брюки ниже колен заправлены в высокие носки (чулки?), что вкупе с тяжёлыми ботинками как бы говорит, что наш фигурант только что вернулся с прогулки, вероятно, посвящённой ловле бабочек. И уже что-то обдумывает.

Конечно же, я зашёл в отель. Обычная суета, ничего особенного. Набравшись смелости, я обратился на стойку администратора. Мол, я понимаю, что вам не до меня, я не ваш постоялец, но так хочется посмотреть хотя бы на дверь набоковского съюта, может, разрешите? Девушка-администратор несколько не удивилась (чему удивился я), позвала другого сотрудника, и он меня сопровождал на какой-то этаж (какой? Не помню уже). Элегантная табличка: *Vladimir Nabokov Suite 65*. Надпись обрамлена какими-то травинками-цветочками. Число — вероятно, формальный номер комнаты. Фотографии на стенах.

«Часто просят отвести сюда?» — спросил я. «О да, но мы привыкли, это наша работа», — ответил сотрудник. «Сейчас тут кто-то живёт?» — «Постоянно, номер забронирован навсегда вперёд». — «И дорого?» — «Очень». Тогда я не спросил, а сейчас в интернете не найти, сколько стоит снять этот номер. Цена обычного — пара-тройка сотен евро за ночь. Набоковский съют, понятно, изрядно дороже...

...Я ночевал в хостеле на берегу Женевского озера — да, контраст с «Монтрё-Паласом» большой, но я не переживал из-за этого. Гораздо больше меня занимала простейшая мысль. Часов за десять я совершил путешествие из точки «А» (Берлин) в точку «Б» (Монтрё). Причём если бы я не подстраховался с покупкой железнодорожного билета на более позднее время (не исключая опоздания самолёта), дорога заняла бы ещё меньше. Но для ровного счёта пусть будет десять часов. А Набоков одолел это же расстояние за 23 года. И только через Париж и США, прямее дороги не нашлось.

Но и это изумляет не так сильно, как то, что дорога Набоковых из Берлина в Монтрё оказалась подчёркнуто в одну сторону. Для жителей и любителей Берлина (меня включая, чего уж), конечно, Набоков — берлинец, но, положив руку на сердце, Набоков немецкую столицу не любил и знал его отнюдь не досконально. Уехав из Германии в 1937 году, он никогда больше туда не приезжал, хотя прожил после этого ещё сорок лет, а семнадцать последних провёл в соседней Швейцарии, в «Монтрё-Палас», выезжая куда-либо только по семейным, туристическим и деловым поводам. И даже могила отца на русском кладбище в Тегеле не убедила Набокова, что в Берлин можно приехать ещё хотя бы раз. Как, впрочем, и в Прагу — где покоится мама писателя, Елена Ивановна, оказавшаяся в Чехословакии после гибели мужа.

Прага, Берлин... А остались они, Вера, Владимир, Дмитрий, всё-таки на Женевском озере — на кладбище деревеньки-спутника Монтрё под названием Кларан, которое я посетил в тот же бесконечно длившийся знойный июльский непостижимый исчезающий набоковский день. 

Ольга Федоровская

«Много я видел и много я странствовал...»

Сергей Есенин в Германии

— *Solotaia golova!* — произнесла Айседора, знающая не больше десятка русских слов, окунув руку в кудри сидящего у её ног Есенина.

«...Потом поцеловала его в губы.

И вторично её рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— *Anguel!*

Поцеловала ещё раз и сказала:

— *Tschort!*

В четвёртом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали...»¹

Так писатель Анатолий Мариенгоф вспоминает встречу с Есениным и Дункан осенью 1921 года в студии художника Георгия Якулова².

Дункан приехала в Россию в надежде развивать свою балетную школу и, несмотря на обещанную ей поддержку, этот опыт не оказался удачным — советская власть не сдержала обещаний, на которые рассчитывала танцовщица. Денег катастрофически не хватало. В 1922 году в Париже умирает Мэри Дора Грей, мать Дункан, и одновременно с этим Айседоре поступают предложения гастролей по Западной Европе и США, которые она решила принять и на время покинуть Россию.

Всё это происходило на фоне бурного романа с Сергеем Есениным, который не хотел отпускать её одну. Для совместной

¹ А. Мариенгоф, Воспоминания о Есенине. Москва, 1926. Цитата приводится по тексту этого издания с учетом исправлений, внесённых автором при включении соответствующих фрагментов в «Роман без вранья». Датируется по первой публикации.

² Георгий Якулов (1884–1928), художник-авангардист, создатель «Теории разноцветных солнц».

поездки и получения разрешения на выезд требовалось пожениться, так как Есенин год назад уже получал отказ в выезде за границу. Если бы не эта поездка, то, скорее всего, их брак бы не состоялся. Страсть Есенина обычно оказывалась быстротечной, а вкупе с его характером и склонностью к алкоголю и скандалам отношения поэта с женщинами продолжительными не были никогда. Дункан же была убеждённой противницей браков, не вступая в них даже с отцами своих детей.

К этому добавим разницу в возрасте. Несмотря на то, что Дункан в свои 45 лет выглядела значительно моложе, она стеснялась этого и первое время скрывала свой возраст от Есенина. Перед регистрацией брака она обратилась к Илье Шнейдеру, назначенному советским наркомом просвещения Анатолием Дуначарским в период с 1921 по 1924 годы секретарём Айседоры Дункан, с просьбой исправить в документах дату её рождения. Но и Есенин тоже не выглядел на свои 27 лет. Многие современники отмечали, что их разница в возрасте очень бросалась в глаза. Писатель Глеб Алексеев писал: «Женщина в фиолетовых волосах, в маске-лице — свидетеле отчаянной борьбы человека с жизнью... И рядом мальчонка в вихорках, ловкий парнишка из московского трактира Палкина с чижками под потолком, увёртливый и насторожившийся. Бабушка, отпумевшая большую жизнь, снисходительная к проказам, и внук — мальчишка-сорванец»³. А Максим Горький, который встречался с парой в Берлине на обеде у Алексея Толстого, отметил с его точки зрения полное их несоответствие друг другу: «...Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно...»⁴

³ Очерк Глеба Алексеева «Сергей Есенин» написан в 1922 г. по живым впечатлениям встреч с поэтом 11 и 12 мая в Берлине, впервые опубликован в берлинском журнале «Сполохи» (№10/1922, с. 30—32) и в сокращённом виде, за исключением эпизода посещения Есениным и Дункан Дома искусств, вошёл в его книгу «Живые встречи: русские писатели в революции» (Берлин, 1923 г.).

⁴ Воспоминания были впервые опубликованы с сокращениями в ленинградской «Красной газете», 5 марта 1927, вечерний выпуск. Полностью в книге: М. Горький, Воспоминания. Рассказы. Заметки. *Berlin, Kniga*, 1927. Печатаются по тексту издания: М. Горький, Полн. собр. соч., т. 20. Москва, Наука, 1974, с. 62—69.

Женщина чувствовала отношение окружающих, но её нежные чувства к Есенину, граничащие с материнскими, побудили Дункан отказаться от своих принципов.

Таким образом, стечение обстоятельств привело к тому, что 2 мая 1922 года в Хамовническом загсе Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Молодожёны выразили желание носить двойную фамилию: Дункан-Есенин. И Есенин, выходя из загса, радостно воскликнул: «Теперь я — Дункан!». Несомненно, он был уверен в повышении своего статуса. Но это была лишь иллюзия.

Надежды на триумф

Уже через неделю, 10 мая 1922 года Дункан-Есенины вылетели в Германию. Дункан признавала только один способ передвижения — автомобиль. И это несмотря на то, что именно автомобиль стал причиной гибели её детей (и, по иронии судьбы, в будущем и её самой). Но на автомобиле из России в Европу добираться сложно даже сейчас, а тогда и подавно, поэтому был выбран новомодный способ передвижения — аэроплан советско-немецкой авиакомпании «Дерулюфт» (*Derulufi; DEutsch-RUssische LUFTverkehrs*). Маршрут из России в Германию проходил через Кёнигсберг, по этому же маршруту в Германию прилетали и Маяковский с Лилей Брик.

12 мая 1922 года пара прибыла в Берлин.

Есенин с Сидорой (так поэт называл Айседору) остановились в знаменитом «Адлоне», в котором Дункан всегда останавливалась, и где её с нетерпением ожидали журналисты.

Илья Шнейдер, в обязанности которого входило сопровождение её в гастрольных поездках, так описывает их прибытие:

«Приезд Айседоры Дункан из «большевистской Москвы», да ещё в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего её мужем, — это была сенсация, а следовательно и «хлеб» для репортёров. Её буквально «обстреляли» вопросами.

— Несмотря на лишения, русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжёлый труд по перестройке всей жизни, — отвечала она им. — Мой великий друг Станиславский, глава Художественного театра, и его семья с аппетитом едят бо-

бовую кашу, но это не препятствует ему творить образы в искусстве»⁵.

«...Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, какое даёт возможность пренебрежительно к ним относиться» — писала Наталия Васильевна Крандиевская-Толстая, супруга Алексея Толстого. Дункан заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюнке», задуманное ещё в Москве, совместно с Есениным, требовало денег»⁶.

Алексей Толстой и его тогдашняя жена Наталья Крандиевская-Толстая были знакомы с Есениным с весны 1917 года, но во второй раз случайно встретились только на бульваре Курфюрстендамм в Берлине. Не заметить Есенина с Айседорой было сложно. На нём были смокинг и цилиндр, в петлице — хризантема. Айседора, с театральным гримом на лице, лилово-красными волосами, одетая в парчовое платье.

Наталья Васильевна окликнула Есенина, он узнал её и, подбежав, радостно схватил за руку:

«— Ух ты... Вот встреча! Сидора, смотри кто...

— *Qui est-ce?*⁷ — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза её ширились всё больше, наливаясь слезами.

— Сидора! — тормозил её Есенин. — Сидора, что ты?

— *Oh*, — простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты. — *Oh, oh!*.. — И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепутанный Никита волчком глядел на неё. Я же поняла всё. Я старалась поднять её. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не

⁵ И. Шнейдер. Встречи с Есениным. Воспоминания. 3-е, доп. изд. М. Советская Россия, 1974.

⁶ Там же.

⁷ Кто это? (франц.)

оборачиваясь, не видя перед собой никого, — фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своём глупом цилиндре, растерянный».

В те времена на рекламе английского мыла *Pears* был изображён белокурый голый младенец, им был погибший сын Айседоры — Раймонд. Толстым говорили, что их сын Никита очень похож на этого младенца. Но в какой мере он был похож, могла знать только Айседора, и её поведение это подтвердило. Она до конца жизни оплакивала своих погибших детей, а её идея создания школы танца была основана на том, чтобы обучать детей-сирот, детей погибших на войне солдат, чтобы отдать им нерастраченное материнское тепло. Именно поэтому она всегда отказывалась от идеи школы для детей из обеспеченных семей, пытаясь создать именно государственную школу для тех, кто не мог платить, но тоже был достоин хорошего обучения и воспитания.

У самого Есенина были большие планы на Германию, и частично они воплотились в дела. Он хотел там издаваться — и у него в Берлине вышли три книги: в издательстве З. И. Гржебина⁸ «Собрание стихов и поэм С. Есенина (т. 1)», «Пугачёв» в «Русском универсальном издательстве»⁹ и «Стихи скандалиста» в издании И. Т. Благова.

Однако тираж был небольшим. Есенин получил за него «пока только сто тысяч с лишним марок, между тем в перспективе около 400»¹⁰. Но это было время, когда немецкая марка начала стремительным образом обесцениваться¹¹. Интерес к советским авторам в Германии также был не высок, так как ос-

⁸ Издательство Зиновия Исаевича Гржебина (1877–1929) основано в Петрограде в 1919 году. С конца 1920 года базировалось в Стокгольме, а вскоре после этого — в Берлине. Гржебин заключил с Советским правительством договор на поставку нескольких тысяч выпущенных им книг, но проект не состоялся из-за неоплаты со стороны России. В 1923 году издательство закрылось по финансовым причинам.

⁹ «Русское универсальное издательство» занималось в том числе выпуском популярной серии «Всеобщая библиотека», в которой выходили публикации о новинках искусства и науки («Памятники мировой литературы»).

¹⁰ Из письма А. М. Сахарову (см. прим. 12).

¹¹ За весь 1922 год уровень цен в Германии поднялся в 40 раз, за следующий год — ещё более чем в 850 000 раз.

новые представители русской диаспоры были эмигрантами, бежавшими от советской власти. В письме к своему близкому другу и хранителю рукописей Александру Сахарову¹² от 1 июля 1922 года из Дюссельдорфа Есенин писал:

«...Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешёвизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно<...> Если рынок книжный — Европа, а критик — Львов-Рогачевский¹³, то глупо же ведь писать стихи им в угоду и по их вкусу. Здесь всё выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Марингофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией?

Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать всё это к <...> матери и наострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину. <...> Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи переведённые, мои и Толькины, но на кой <...> всё это, когда их никто не читает.

Сейчас на столе у меня английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экз. Это здесь самый большой тираж! Взвейтесь, кони! Неси, мой ямщик..... Матушка! Пожалей своего бедного сына...»¹⁴

Однако Есенин понимал, что издание книг — это путь к известности, и у него была идея перевести свои стихи на английский. Во время поездки с Дункан он предложил сопровождавшей их переводчице Лоле Кинел (о причинах её появления

¹² Александр Михайлович Сахаров (1894–1952), издательский работник. Был знаком с Есениным с 1919 года, совершил с поэтом ряд поездок. В 1922 г. Сахаров издал в петроградском издательстве «Эльзевир» на собственные средства поэму Есенина «Пугачёв». Некоторое время был хранителем рукописей Есенина.

¹³ Василий Львов-Рогачевский (1874–1930), литературовед, критик, публицист. Занимался культурно-просветительской деятельностью. Тексты Львова-Рогачевского, благодаря доступности изложения и теоретических построений, пользовались большой популярностью. Считался критиком «марксистского» толка.

¹⁴ Цит. по: <http://www.museum-esenin.ru/tvorchestvo/906>

см. ниже) перевести некоторые свои тексты. Он справедливо считал, что издание на английском увеличит его аудиторию в десятки раз, так как в России его могут узнать не более двадцати-тридцати миллионов человек, остальные просто неграмотные, а англоязычный мир добавлял не менее ста миллионов читателей. Такое предложение привело Лолу в замешательство, она попыталась объяснить, что его лирика непереводаима, что его стихи — это музыка, выраженная с помощью русских слов, русской фонетики, и её невозможно воспроизвести на другом языке.

Однако Есенин был непреклонен, и его поддержала Айседора, отказаться не было никакой возможности. Лола попыталась перевести несколько отобранных Есениным известных стихотворений. Когда она зачитала вслух Айседоре на пробу несколько переводов, они обе пришли к выводу, что затея не очень удалась. Пришлось ещё раз объяснять, что фразу «Утром в ржаном закуте...» можно перевести, например, как *Of a morning in a kennel of straw*, но это лишь отразит общую картину, но не останется ни поэтики, ни рифмы, а если пренебречь рифмой и использовать белый стих, то нужно сохранить хотя бы ритм, что тоже не всегда возможно, и в итоге получится что-то совсем непохожее на оригинал. На что Есенин в отчаянии ответил: «Хорошо, тогда не сохраняйте ни рифму, ни ритм, переводите просто дословно. В конце концов, я изобразил красивые картины, у меня есть образы, у меня есть мысли, а это тоже чего-то стоит...»¹⁵

Не обошлось в Берлине и без скандала, который впоследствии обернулся большими проблемами. Позднее, из Брюсселя, Дункан и Есенин намеревались поехать в Париж, но неожиданно начались затруднения с визами. Дункан привыкла к тому, что любые консульства и посольства любезно и незамедлительно ставили в её паспорте визы на въезд в их страны. Теперь всё крайне осложнилось. Московские визы в паспорте Дункан, «красный» паспорт Есенина и газетный шум, сопровождавший их путешествие, пугали дипломатических представителей. В конце июля 1922 года при содействии друга

¹⁵ *Lola Kinel. Under Five Eagles. My Life in Russia, Poland, Austria, Germany and America. 1919 — 1936. London, Putnam, 1937.*

Дункан, французской актрисы Сесиль Сорель, Айседора и Есенин приехали в Париж, предупреждённые о недопустимости каких-либо политических выступлений. За ними был установлен полицейский надзор.

Главным местом в Берлине, где в то время собиралась русская литературная богема, был Дом искусств, образованный группой русских писателей и художников. За неимением постоянного собственного помещения собирались они в кафе «Леон» — в доме номер 1 по Бюловштрассе, рядом с одноимённой станцией метро. Сегодня на этом месте стоит многоэтажный жилой дом с продуктовым магазином на первом этаже. Он прекрасно виден из вагона метро, особенно если поезд идёт в сторону центра. К слову, историческое здание серого цвета с лепниной, узкими окнами и надписью *goya* на фронтоне, что стоит недалеко от жилого дома с магазином, единственное, которое сохранилось здесь с того времени.

В этом же кафе собирались также «сменовеховцы»¹⁶, которые издавали собственную газету «Накануне»¹⁷, да и вообще туда приходили многие сочувствовавшие Советской России. Для этой публики приезд Есенина был очень интересен.

Описание скандала, произошедшего в этом кафе, есть в мемуарах многих свидетелей: писателя Глеба Алексеева¹⁸, историка и писателя Романа Гуля¹⁹, уже упомянутого Ильи Шней-

¹⁶Сменовеховство — эмигрантское политическое течение 1920-х годов, основная идея которого заключалась в примирении и сотрудничестве с советской властью.

¹⁷Ежедневная газета «Накануне» основана в Берлине в марте 1922 года, последний номер вышел в июне 1924 года. Была единственной эмигрантской газетой, официально разрешённой к ввозу в РСФСР/СССР.

¹⁸Глеб Алексеев (1892–1938). Писатель, критик. Был вывезен из Одессы в Константинополь. Жил в Югославии, затем в Берлине. В 1923 году вернулся в СССР, где был осуждён и расстрелян по ложному обвинению.

¹⁹Роман Гуль (1896–1986). Писатель, журналист, критик. Участник Гражданской войны в составе Белого движения. В 1919 году в качестве пленного был вывезен в Германию. С 1920 года жил в Берлине. Был участником сменовеховского движения, работал корреспондентом советских газет, редактировал литературное приложение к сменовеховской газете «Накануне». В 1933 году переехал во Францию, в 1950-м — в США, где с 1959 до своей смерти возглавлял русскоязычный «Новый журнал».

дера. Данные несколько противоречивы и зависят от того, к какой группе относились авторы. Однако есть факты, которые совпадают у всех, и именно на них мы и будем опираться.

Есенин с Дункан пришли в кафе на следующий же день после прибытия, 13 мая. Есенин, который одевался всегда по последнему слову моды, был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора надела красноватое платье с большим вырезом. Они произвели впечатление вполне respectable пары, и всё произошедшее вслед за этим совсем не вписывается в их образ.

Итак, они вошли в кафе и были встречены шумными аплодисментами. Кто-то (по одной из версий, Айседора) предложил спеть «Интернационал», который на тот момент был официальным гимном РСФСР. Они с Есениным запели, некоторые посетители к ним присоединились, но другая часть начала свистеть и кричать: «Долой! К чёрту!» Тогда Есенин вскочил на стул, что-то закричал о России, об Интернационале, о том, что он русский поэт. И, заложив в рот три пальца, засвистал как разбойник с большой дороги, крикнув затем: «Всё равно не пересвистите нас! Как заложу четыре пальца в рот и свистну — тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет!» Ведущий вечера, чтобы прекратить эту вакханалию, прокричал: «Сергей Александрович сейчас прочтёт нам свои стихи!»

После этого свист прекратился, аплодисменты усилились, и Есенин, дождавшись полного успокоения зала, начал читать.

Роман Гуль пишет: «...Голос у Есенина был, скорее, теноровый и не очень выразительный. Но стихи захватили зал. Когда он читал: «Не жалею, не зову, не плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь дым» — зал был уже покорён. За этим он прочёл замечательную «Песнь о собаке». А когда закончил другое стихотворение последними строками: «Говорят, что я скоро стану / Знаменитый русский поэт!»²⁰ — зал, как говорится, взорвался общими несмолкающими аплодисментами. Дом искусств Есениным был взят приступом...»²¹

²⁰ Вероятно, ошибка Романа Гуля. В стихотворении «Разбуди меня завтра рано» (1917) за строкой «Знаменитый русский поэт» следует ещё одно четверостишие.

²¹ Р. Гуль. Есенин в Берлине (из книги «Жизнь на фукса»), издательство Директ-Медиа, Москва—Берлин, 2017.

Айседора очень плохо знала русский язык, в буквальном смысле могла сказать несколько фраз и слов. Есенин же и вовсе не говорил ни на одном иностранном языке. Их общение было довольно своеобразным. Очень часто они переговаривались знаками. Горький писал: «...Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей...»²² И хотя она мало что понимала в стихах Есенина, но их лирика и певучесть были созвучны её танцу, и она считала Есенина гениальным поэтом, чувствуя это на уровне интуиции. «...Он читал мне свои стихи, — рассказывала Айседора Илье Шнейдеру. — Я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка, и что стихи эти писал гений!»²³

17 мая состоялась ещё одна знаменательная встреча. Есенин с Дункан были приглашены на завтрак к Алексею Толстому, проживавшему тогда в Берлине. Был также приглашён Горький, а чету Есениных-Дункан сопровождал (почти в течение всего их пребывания в Берлине) поэт Александр Кусиков²⁴.

Толстые снимали две большие меблированные комнаты в пансионе Фишер. В угловой комнате, с балконом на Курфюрстендамм, накрыли длинный стол по диагонали. Сына Никиту спрятали на целый день в соседнюю комнату, чтобы не вызвать новое расстройство Айседоры.

Горький и Есенин были знакомы с 1914 года. Однажды они втроем с поэтом Николаем Клюевым гуляли по Петербургу. Тогда Есенин произвел на Горького впечатление провинциального мальчика, который неуверенно чувствует себя в большом городе. Вся его внешность и одежда скорее подходили для боярских детей или приказчиков в торговых рядах. И это первое впечатление позднее сильно диссонировало с прочитанными стихами, которые написал тот же «мальчик» — Есенин. Поэтому Горький, узнав о его приезде в Берлин, сказал Толстым, чтобы они позвали его на встречу с гостем.

²² Источник: см. прим. 4.

²³ И. Шнейдер. Встречи с Есениным. Воспоминания. 3-е, доп. изд. М. Советская Россия, 1974.

²⁴ Александр Кусиков (1896–1977). Поэт-имажинист, автор романсов. С 1922 года в эмиграции. Неоднократно выказывал верность революции, за что получил кличку «чекист». С 1924 года и до смерти жил в Париже. С начала 1930-х годов перестал заниматься литературой.

Горький в своих воспоминаниях довольно подробно описал тот день. На его воспоминания очень часто ссылаются при оценке пары Есенин-Дункан и их отношений, хотя заметки писателя нельзя считать объективными, так как другие участники той встречи высказывали иные мнения. Горький очень ценил Есенина как поэта, но берлинский обед оставил двойственное впечатление: «...От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущённо и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им...»²⁵

Но когда Есенин по просьбе присутствующих начал читать стихи, мнение Горького изменилось. Сначала манера исполнения монолога Хлопуши показалась ему театральной, но вскоре декламация хриплым голосом, в крикливой и надрывной манере стала казаться невероятно правильной, искренней и трогательной до слёз.

Есенин глубоко чувствовал своего героя, он уже не видел ничего вокруг, был бледен, размахивал руками не в ритм стихов, но в ритм реплик, бросаемых им как будто в лицо невидимому собеседнику. Весь его образ соответствовал окружающей обстановке и его состоянию: хриплый голос, неверные жесты, качающийся корпус, горящие тоской глаза...

«...После чтения стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» (Слова С. Н. Сергеева-Ценского), любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И ещё более осязательной стала ненужность

²⁵ Источник: см. прим. 4.

Кусикова с гитарой, Дункан с её пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта»²⁶.

Но Горький был прав, Есенин находился в довольно плачевном эмоциональном состоянии. Его образ жизни и постоянное пьянство накладывали свой отпечаток. В результате настроение поэта всё время менялось, он быстро переходил от меланхолии к возбуждению и обратно. Ему сложно было находиться на месте: смена настроения требовала смены обстановки. Поэтому вечер по предложению Есенина решили закончить там, где былолюдно и шумно. Выбрали Луна-парк.

В парке Есенин оживился и с интересом рассматривал аттракционы. Но через некоторое время они ему тоже наскучили и, сделав вывод, что ничего особенного немцы не придумали, он потерял к ним всяческий интерес. У него опять изменилось настроение, и он вдруг торопливо спросил Горького:

«— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?»

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдёмте вино пить...»²⁷

Любовь к выпивке и осложнения в общении с Айседорой привели ещё к одному забавному эпизоду. Однажды Есенин исчез. Он попросту сбежал с Кусиковым в некий пансиончик на Уландштрассе. Айседора искала его трое суток и в итоге нашла. Её появление среди ночи было эффектным. Есенин в пижаме сидел в столовой с бутылкой пива и играл в шашки с Кусиковым. Взбешённая Айседора, одетая в красный хитон, с хлыстом в руках, ворвалась в пансион, перебила все расставленные там по полочкам кофейники, сервизы, вазочки и пивные кружки. Содержимое буфетов было выброшено на пол и растоптано. Когда бить стало нечего, она, перешагнув через груды черепков и осколков, прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

— *Quittez ce bordel immédiatement*, — сказала она ему спокойно, — *et suivez-moi*²⁸.

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошёл за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счёта.

Этот счёт, присланный через два дня в отель Айседоре, был огромным. Было много шума и разговоров.

В конце концов Айседора решила подлечить Есенина, который довольно много пил, был подвержен неврозам, и всё это выливалось в частые инциденты, о которых с удовольствием судачила пресса. Пара покинула Берлин и отправилась в Висбаден.

Там местный доктор сказал, что Есенин должен хотя бы два-три месяца воздержаться от алкоголя, дабы не превратиться в нервного маньяка. Есенин на время бросил пить и продержался целых два месяца. В середине июля, уже будучи в Бельгии, поэт писал Шнейдеру: «...Если бы Вы меня сейчас увидели, то Вы, вероятно, не поверили бы своим глазам. Скоро месяц, как я уже не пью. Дал зарок, что не буду пить до октября. Всё далось мне через тяжёлый неврит и неврастению, но теперь и это кончилось...»²⁹

Алкогольное воздержание сказалось положительно на его здоровье, но отрицательно на настроении.

«Царство мещанства»

Жизнь в Европе Есенину не особо нравилась. И тому было много причин.

Он не мог себя здесь найти: после «драйва» и хаоса послереволюционной России спокойная и регламентированная жизнь Европы повергала его в уныние. «Хулиган» в неё никак не вписывался.

Айседора чувствовала себя как рыба в воде. У неё были везде масса поклонников, а некоторые даже путешествовали за

²⁸ Покиньте немедленно этот публичный дом... и следуйте за мной (фр.).

²⁹ С. А. Есенин. Полн. собр. соч. в 7 т., т. 6. Письма ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. Москва, Наука; Голос, 1995-2002.

ней, чтобы не пропустить её выступлений. Это совсем не нравилось Есенину, так как его видели только в качестве экзотического русского мужа знаменитой танцовщицы.

Свою лепту вносил и языковой барьер: незнание Есениным языков, конечно, существенно мешало ему вести светскую жизнь. Помехи же в общении Айседоры и Есенина были решены радикальным способом: уже находясь в Висбадене, Дункан была вынуждена нанять переводчицу Лолу Кинел, которая впоследствии написала книгу воспоминаний³⁰.

В конце июня 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан прибыли из Висбадена в Дюссельдорф.

В Дюссельдорфе они жили в самом центре города, в *Steigenberger Parkhotel Düsseldorf*, который по сей день находится в самом конце Кёнигсаллен, возле парка Хофгартен.

Из того же письма Есенина А. М. Сахарову: «...Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом?

Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать — самое высшее музик-холл...»

В письме к Шнейдеру Есенин высказывает всё те же мысли: «...Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют они. Никакой революции здесь быть не может. Всё зашло в тупик, спасёт и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.

Нужен поход на Европу...»

Отсутствие внимания к нему и повышенное внимание к Айседоре вызывали в Есенине приступы злости и ревности, и он часто закатывал ей публичные сцены. Но и Айседора не оставалась в долгу. В Дюссельдорфе произошла пара забавных случаев, описанных в воспоминаниях Лолы Кинел.

³⁰ *Lola Kinel. Under Five Eagles. My Life in Russia, Poland, Austria, Germany and America. 1919–1936. London, Putnam, 1937.*

Однажды ночью к ней в комнату пришла Айседора, которая искала пропавшего Есенина. Не обнаружив его у Лолы, она направилась в комнату своей личной служанки Жанны, но и там его не было. Все три дамы направилась в большой салон Айседоры и принялись совещаться. Спустя некоторое время Лола вдруг решила громко спросить по-русски:

— Сергей Александрович, где вы?

— Я здесь, — неожиданно раздался его голос.

Есенин в пижаме стоял на небольшом балкончике и дышал свежим воздухом.

Мир и покой были восстановлены, но Лола почувствовала на себе силу ревности Айседоры, ведь первым делом она пришла искать Есенина у неё в комнате!

Есенин также постоянно находил поводы для ревности. Айседора каждое утро репетировала. К ней приходил пианист, они закрывали дверь комнаты, чтобы их никто не беспокоил. Это очень не нравилось Есенину, так как он не понимал, зачем её запирают, хотя обнаруживал это обычно как раз тогда, когда пытался туда войти. На увещевания Лолы он не очень реагировал и начинал злиться. Однажды это привело к конфузу, который описан в воспоминаниях Лолы:

«...В этот момент открылась дверь, и вышла Айседора в сопровождении пианиста. Увидев сердитое лицо Есенина, она тотчас поняла причину и с очаровательным жестом произнесла на своём русско-китайском жаргоне:

— Пожалиста не обращайтесь внимание. Пожалиста не волнитесь. Он — педераст.

Всё было бы ничего, кроме этого слова «педераст», которое на всех языках означает одно и то же. Не знаю, как уж тут выглядел пианист... Я постаралась поскорее уйти прочь...»

Ревность Есенина распространялась и на некоторых поклонников, которые следовали за Айседорой. Он никак не мог взять в толк, почему они это делают. В душе Есенин не считал танец искусством. Однажды во время их путешествия произошёл неприятный разговор на эту тему. Есенин довольно жестоко заявил Айседоре, что её танец будет жить до тех пор, пока она танцует, а его стихи будут жить вечно. На возражения

Айседоры, что она дарит людям красоту, и они будут её помнить, поэт ответил, что помнить её будут только те, кто сам видел эти выступления, но после их смерти память о танце Дункан тоже умрёт. И только увидев слёзы в глазах Айседоры, он прекратил этот разговор. Есенин был прав, но лишь отчасти, так как кроме описаний современников сохранились видеозаписи выступлений Дункан, хотя и совсем немногочисленные.

...Год спустя Есенин с Дункан возвращались через Европу в Россию. Айседора должна была решить некоторые дела в Париже, и Есенин использовал это время для поездки в Берлин, где его очень ждали. И как поэта, и по причине предполагаемого разрыва с Дункан. Приезд этот вновь сопровождался скандалом. Зал, где ожидали выступления Есенина, был полон. Вот как вспоминает этот вечер Роман Гуль: «...Когда встреченный аплодисментами Есенин вышел на эстраду Шуберт-зала<...> он был вдребезги пьян, качался из стороны в сторону и в правой руке держал фужер с водкой, из которого отпивал. Когда аплодисменты стихли<...> Есенин вдруг начал<...> говорить какие-то пьяные несуразности<...> Поднялся шум, одни встали с мест, другие кричали: «Перестаньте хулиганить! Читайте стихи!» Какие-то люди пытались Есенина увести, но он упёрся, кричал, хохотал, разбил об пол стакан с водкой. И вдруг закричал: «Хотите стихи?! Пожалуйста, слушайте!..»

В зале не сразу водворилось спокойствие. Есенин начал «Исповедь хулигана». Читал он криком, «всей душой», очень искренне, и скоро весь зал этой искренностью был взят. А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери: «Они бы вилами пришли вас заколоть // За каждый крик ваш, брошенный в меня!» — ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий. Пьяный, несчастный Есенин победил»³¹.

Гуль познакомился с Есениным на вечере в клубе Союза немецких лётчиков, где Есенин впервые читал «Москву кабацкую». Там Есенин отличился тем, что не только читал стихи, а ещё и плясал. Трепака. Плясал великолепно, по-деревенски: с вывертом, с коленцем, вприсядку...

³¹ Р. Гуль. Есенин в Берлине (из книги «Жизнь на фукса»), издательство Директ-Медиа, Москва—Берлин, 2017.

Когда же под утро они с компанией шли по уже светавшему Берлину, Есенин, трезвея на свежем воздухе, вдруг пробормотал:

— Не поеду я в Москву... не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн.

Один из сопровождавших спросил Есенина, не антисемит ли он?

Есенина взорвало.

— Я — антисемит?! — с яростью закричал он. — Лейба Бронштейн — это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ей править...

И уже позже:

— Я Россию очень люблю. И мать свою люблю. И революцию люблю. Очень люблю революцию...»³²

В Россию он, конечно же, вернулся. После Берлина Есенин вновь поехал в Париж, откуда они с Дункан отправились в Москву, где и произошёл через некоторое время окончательный разрыв их отношений. В одной из своих автобиографий в 1923 году Есенин писал: «...В 22 году вылетел на аэроплане в Кёнигсберг. объездил всю Европу и Северную Америку. Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию. Что дальше — будет видно» . 

³²Там же.

Инна Савватеева

О ЛЮДЯХ С ТАКТИЛЬНЫМ ИНСТИНКТОМ

Вальтер Беньямин. О коллекционерах и коллекционировании. Москва, ЦЭМ, V-A-C press, 2018 — 104 с. Перевод с немецкого Сергея Ромашко и Натальи Бакши. ISBN 978-5-9909519-8-3

В сентябре 1940 года на границе между Францией и Испанией скопилось много бежавших от коричневой чумы людей — антифашисты, политические эмигранты из Германии, евреи. Французское правительство отказывало им в выдаче выездной визы, а испанцы — с другой стороны границы — не давали право на въезд. Проблема была чисто бюрократической и должна была вскоре разрешиться, потому что у большинства беженцев имелись американские визы. Многие начали хлопотать и бегать по инстанциям. А один из немецких эмигрантов, некто Вальтер Беньямин (*Walter Benjamin*, 1892–1940), решил проблему просто: он принял яд и к утру следующего дня был мёртв. Потрясённые столь неадекватной реакцией на обычные бумажные проволочки, чиновники немедленно пропустили всех через границу.

Кто был этот человек — Вальтер Беньямин? Почему чаша жизни переполнилась в результате малозначительного пограничного инцидента? Почему он решил поставить знак тире в датах своей жизни на французо-испанской границе? Вопросы эти останутся навсегда без ответа. Одно из объяснений, которое даёт нам современное литературоведение, звучит так: гестапо конфисковало его библиотеку. А именно она и была его жизнью. Книги были той амброзией, которая подерживала творческое вдохновение, рождала желание писать самому, являясь единственно возможной средой обитания для книжных червей «типа Бенямина». О той — конфискованной

— библиотеке он написал блестящее эссе, назвав его просто «Я распаковываю свою библиотеку. Речь о коллекционировании»¹.

На минутку заглянем и мы туда, где ещё нет тихой скуки порядка, где книги ещё не маршируют стройным парадным чеканным шагом, где из раскрывающихся ящиков пыль попадает в солнечные лучи света и начинает кружиться в древесном воздухе шкафов. Бенъямин пишет о своей библиотеке как о страсти, захватившей его в свои прочные объятия. Эта страсть граничит с хаосом. С хаосом воспоминаний. В представлении Бенъямина книги имеют судьбу, а покупка редкой книги для коллекционера равнозначна его второму рождению. Как о чём-то бесценном вспоминает он о приобретении книг «Синий всадник» и «Легенды Танаквилы» швейцарского писателя Иоганна Якоба Бахофена. Не надо сегодня быть большим историком, чтобы понять, чем грозило Бенъямину в эпоху борьбы с «дегенеративным» искусством обладание книжкой с таким странным певучим названием — «Синий всадник».

Эссе о библиотеке заканчивается строчками, которые подтверждают тезисы современных исследователей Бенъямина о причине его внезапной для всех смерти в сентябре 1940 года: «О, счастье коллекционера! Счастье частного человека!»

В маленькой книжке, которую открывает блестящее эссе про библиотеку, есть и другая, весьма любопытная статья Бенъямина под названием «Эдуард Фукс: коллекционер и историк». Она — продолжение темы библиотеки и анализ, не имеющий аналогов в истории, анализ наследия Фукса в аспекте «счастья», счастья коллекционера. Эдуард Фукс (*Eduard Fuchs*) был первым в немецкой культурологии, кто собрал огромное количество материала на тему «Секс и эротика в искусстве» и стал, наверное, одним из самых крупных коллекционеров рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. Результатом собирательства и анализа стали многие изданные при жизни автора тома «Нравы: Ренессанс. Рококо. Буржуазный век...» Написанные как детективный роман, они и сегодня читаются на одном дыхании.

¹ Существует несколько вариантов его перевода. В данном случае речь идёт о переводе Сергея Ромашко и Натальи Бакши из рецензируемой книги, *V-A-C press*, 2018 (прим. автора).

А появился будущий великий культуролог на литературном горизонте благодаря... аферистке-танцовщице Лоле Монтеc. Статья о карикатурах, на которых изображались интимные сцены короля Баварии Людвига I (*Ludwig I. von Bayern*) и его возлюбленной, закончилась для Фукса десятимесячным пребыванием в тюрьме, созданием новых исследовательских планов и анонсом книги о Лоле Монтеc. Однако Фукса ни в коем случае нельзя сводить к исследователям одного дня, живущим за счёт популярности и актуальности тем. Он — исторический материалист, для которого культура оказывается оуществлённой и овеществлённой. Фукс сложился как теоретик культуры. Он вошёл в культурологию также как коллекционер. И этот «пандан» стал определяющим в его писательской и научной деятельности: «Фукс-коллекционер научил Фукса-теоретика понимать многое, чему ситуация времени препятствовала»². В начале двадцатого века, опираясь на творчество Огюста Родена и художника Макса Слефогта (*Max Slevogt*), например, он пророчит явление новой красоты, «которая в своём завершении обещает достичь несравненно большего величия, чем красота античности». Вот так — ни больше, ни меньше.

Текст Беньямина о Фуксе часто сильно сложнее самого Фукса. Если через «эротические» анализы нравов галантного века читатель пролетает или скачет галопом — настолько легко и изящно они написаны, то через рассуждения Беньямина уже надо продирааться как сквозь сумрачный лес и частокол молодых насаждений. Попытка проследить творчество Фукса через призму марксистско-энгельсовской теории культуры заканчивается если не крахом, то признанием Беньямина: «Эристическая диалектика³, которая «должна вникнуть в то, что составляет сильную сторону противника, чтобы одолеть его изнутри, не обнаруживается в его арсенале»⁴. Однако некоторые замечания Беньямина относительно Фукса просто блестящи и должны войти в цитатники: «Понятие творческого у

² С. 40 рецензируемой книги.

³ Эристическая диалектика (*Eristische Dialektik*) — трактат Артура Шопенгауэра 1830 года, предметом которого выступает учение о свойственной человеку от природы страсти к спору (прим. ред.).

⁴ С. 44.

Фукса сильно сдвинуто в направлении биологии. И если гений наделяется атрибутами, порой доходящими до приапических⁵, то художники, к которым автор относится сдержанно, часто предстают лишёнными мужественности⁶. Кто это? Например, Эль Греко, Мурильо, Рибера — творцы, чьи имена в сознании современного человека меньше всего рассматриваются в контексте эротических веяний эпохи.

Беньямин произносит ещё одну фразу, которая является ключевой к его творчеству, ключевой к творчеству Фукса, определяющей по отношению к людям, которые инфицированы болезнью собирательства: «Коллекционеры — люди с тактильным инстинктом». Этим тактильным инстинктом прежде всего обладал он сам — Вальтер Беньямин. И этот инстинкт привёл его к трагическому решению сентября 1940 года. Тогда он сделал свой выбор. Потомки, которые на основании этого выбора лишились многих гениальных текстов, сегодня думают и переживают: а что было бы, если бы... У истории, как известно, нет сослагательного наклонения.

Прочтите эту маленькую тоненькую книжку объёмом в 104 страницы. Вы станете богаче. И не исключено, что в вас проснется тактильный инстинкт. 

⁵ Приапический — устар. перен. чувственный, сладострастный (прим. ред.).

⁶ С. 47.

Елена Эйнгорн

Важность «ТОЛДОТ»

Maxim Biller. Sechs Koffer. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2018. ISBN 978-3-462-05086-8

Как это ни парадоксально прозвучит, но евреям чужда «история». История — это греческий подход описания прошлого, это чужой рассказ о событиях (*his-story* — «его рассказ»). В современный иврит, конечно, перешёл этот термин, но изначально еврейское мировоззрение строится на «толдот» — свидетельства очевидцев, на том, что они сами видели и прочувствовали. В этом плане «Шесть чемоданов», новый роман Максима Биллера, немецко-еврейского писателя, родившегося в Праге в семье советских диссидентов, — настоящий еврейский детектив, основанный на них, на «толдот».

Шесть чемоданов — это шесть судеб, шесть рассказов об одном предательстве. Как и Довлатов в сборнике рассказов под похожим названием «Чемодан», Максим Биллер разбирает содержимое собственной жизни, семейной драмы через призму свидетельств историй своих родственников. Каждый из шести чемоданов — отдельная история, комичная и грустная одновременно, криминальная и любовная, связанная с непростыми обстоятельствами и целыми пластами воспоминаний большой еврейской семьи из СССР. Действительно, с самых первых строк эта книга увлекает читателя в круговорот семейных воспоминаний, калейдоскоп лиц и событий, где жертвой предательства стал тате («отец» на идише) — Шмиль Биллер, расстрелянный в 1960 году в СССР за валютные операции. Спустя годы становится известно, что расстрелян он был по доносу «своих». Под подозрением четверо сыновей и невестка. Автор книги — внук тате, никогда его не видевший, рожденный в Праге в 1960-м году, ещё до «пражской Весны». Максим Биллер пытается распутать клубок доноса. Постепенно находя всё новые улики и новых «подозреваемых», писатель рассказывает и о

своей жизни, и о своей семье, и о поиске себя в этой запутанной семейной саге. Кто донёс на тате? Возможно, доверчивый Дима, арестованный летом 1960 года в Праге за контрабанду, но снова вскоре досрочно освобождённый? Или его красавица жена, Наталья, пережившая концлагерь, которая для продвижения в кинематографе должна завоевать расположение чешских чиновников? А может, Лев, брат Димы, который первым бежит на Запад с целью разбогатеть?

И действительно ли имеет значение, кто донёс?

Несмотря на то, что весь сюжет сосредоточен на поиске стукача, основной вопрос всё же близок многим эмигрантам, а особенно — русским евреям: как жить со всем этим багажом из чемоданов, как вписаться в совершенно другую жизнь на Западе, оставаясь собой и не растеряв ценный «скарб», накопленный поколениями в другом мире?

Эта книга — не расследование и не обвинение в предательстве. Её центральной темой становится не предательство, а потерянности и принятие. Гораздо больше, чем неизбежностью предательства, Биллер озабочен вопросом «потерянного поколения в эмиграции» (фр. *génération perdue*). Кто они, его родственники — советские евреи, чехи, немцы? И где их дом?

Ответ довольно прост: их дом и жизнь после эмиграции в Прагу, а потом в Германию, вряд ли подлежат восстановлению, а та семья, где тате — патриарх и четверо любимых сыновей рядом, исчезла бесследно. Среди многочисленных цитат из Бертольда Брехта, приводимых в «Шести чемоданах», особо выделяется следующая: «Паспорт — самое благородное, что есть в человеке» (*Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen*). Много было утеряно при переезде, но обладание «западным паспортом», с которым не страшны ужасы советской системы, даёт надежду на будущее. Некоторые моменты в книге могут показаться неправдоподобными, такие как переписка между членами семьи на чешском, хотя они приехали уже во взрослом возрасте и прожили в Праге лишь десять лет, или неточные факты из советской действительности. Но не нужно забывать, что Максим Биллер — сын эмигрантов, уже рождённый в другой стране, и смотрит на историю своей семьи через призму западного мира.

«Шесть чемоданов» — одно из тех произведений, в котором наиболее ярко проявляется способность автора писать иронично и легко, заставляя читателя улыбаться даже в самые грустные моменты. Биллер держит внимание читателя, не отпускает его от себя ни на минуту, даёт ему возможность не только провести время за безусловно интересным чтением, но и задуматься в том числе и о своей собственной жизни, найти свои корни, основываясь не на истории советских евреев, а именно на «голдот» — свидетельствах очевидцев. 

Елена Иноземцева

Взгляд со стороны. Английские путешественницы в большевистской России

Nadine Menzel: Nach Moskau und zurück. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2018. ISBN 978-3-412-50109-9

Юбилеям сопутствуют публикации, круглые даты предполагают к размышлениям. Чуть более ста лет назад Россию сотрясла революция, последствия которой и сегодня ощутимы в мире. Период истории, очень неоднозначно оценённый современниками, всё ещё не осмыслен, не оценён и, по большому счёту, не понят теми, для кого это — история семьи, страны... Для многих из нас это очень личная тема, и тем интереснее нам взгляд со стороны. Именно оценке этого периода истории современниками посвящена монография ангlista, слависта, преподавателя славистики в Лейпцигском университете, доктора филологии Надин Менцель (*Nadine Menzel*). «В Москву и обратно» — это книга о путевых заметках и дневниках трёх очень разных английских женщин, посетивших Советскую Россию в 1920 году.

Страна, в которую они направлялись, была чем-то доселе невиданным — пятно на карте, образовавшееся на месте огромной империи, и сегодня поражает воображение. Тогда же новости поступали, в основном, из газет, которые полнились слухами вперемежку с домыслами. Достоверных сведений было катастрофически мало. Тем бóльшим спросом пользовались сообщения очевидцев, побывавших в РСФСР. Наибольшее их количество было отмечено в период НЭПа, между 1920-ми и 30-ми годами. Всевозможные делегации рабочих представлялись Ленину неплохой возможностью повлиять с их помощью на общественное мнение за рубежом¹.

¹ *Nadine Menzel: Nach Moskau und zurück. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2018, S. 15.*

Делегация Конгресса трудовых Союзов была первой в своём роде, посетившей Советскую Россию с официальным визитом в 1920-м году². В поездке приняла участие одна из самых ярких представительниц международного феминистского движения, член Лейбористской партии Великобритании Этель Сноуден (1881–1951). По возвращении Сноуден опубликовала свои путевые заметки *Through Bolshevik Russia* («По большевистской России»), вызвавшие чрезвычайный интерес широкой публики и довольно неоднозначную оценку товарищей по делегации. Сноуден подробно описала свои наблюдения касательно многих сторон жизни в Советской России, но всё же основное её внимание было посвящено политической ситуации и той пропитанной страхом и полностью идеологизированной атмосфере, которая шла вразрез с представлениями об обещанном большевиками «городе-саде»³.

Сильвия Панкхёрст (1882–1960), известная суфражистка и сторонница левых политических взглядов, в этом же году в одиночку совершила путешествие в РСФСР с целью принять участие во Втором конгрессе Коминтерна, который состоялся в июле-августе 1920 года в Петрограде. Результатом поездки стал опубликованный в следующем году текст *Soviet Russia as I Saw It* («Советская Россия как я её увидела»).

Наконец, третья фигурантка данной монографии и, пожалуй, одна из самых неоднозначных фигур в этой истории: Клэр Шеридан (1885–1975) — аристократка, скульптор, журналистка, писательница «и просто красавица». Кузина Уинстона Черчилля, которой приписывали романы с Троцким, Каменевым, Чарли Чаплиным и ещё дюжиной известных и менее известных мужчин. *What fun to add a Bolshevik to my Agnew Exhibition* («Какая забава, добавить большевиков к моей выставке»)⁴ — заявила эта эксцентричная особа, отправляясь в Россию. «Её целью было изваять бюсты большевистских вождей. Ведомая любопытством, страстностью и в не меньшей степени жаждой прославиться как скульптор, она не испугалась ни трудностей путешествия,

² Там же, S. 93.

³ Там же, S. 137.

⁴ Там же, S. 247. Перевод автора рецензии.

ни потери репутации в консервативных аристократических кругах»⁵. Публикация дневника под заголовком *Russian Portraits* («Русские портреты») Шэридан в лондонской Times всего через несколько дней после её возвращения сопровождалась дебатами и повышенным читательским интересом.

Тексты всех трёх путешественниц достаточно широко известны в Великобритании, чуть менее — в России, они нередко цитируются, однако монография доктора Менцель впервые предлагает их доскональный анализ. Немалое внимание уделяет она дневниковым записям и путевым заметкам как отдельному жанру литературы. Её интересует не только фактология, но и методологические и литературоведческие аспекты, взаимосвязь таких категорий как мир и люди, пространство и время, знакомое и чужое.

И всё же основной интерес для широкого читателя, думается, заключён в подробностях, которые автор выуживает из вороха информации: публикаций, архивных материалов... Нам предлагается взгляд постороннего, очевидца. Сведения об общей обстановке в мире и о том, какой представлялась Советская Россия европейцам. Это, пожалуй, самое интересное, поскольку тема — «Россия и Европа» — сегодня вновь звучит очень актуально. 

⁵ Там же, S. 17. Перевод автора рецензии.

Марк Тальберг-Жуков

Загадка с блошиного рынка

Валерий Бочков: *Берлинская латунь*, Издательство Э, Москва, 2018, 256 с. ISBN 978-5-699-99064-1

В центре сюжета романа Валерия Бочкова «Берлинская латунь», занимающего большую часть одноимённого сборника, стоит купленный героями на блошином рынке самовар. Герои — это успешный в прошлом пианист, проживающий в Америке, Дмитрий Спирин (от его лица ведётся повествование) и его девушка, американка Мария. Выясняется, что их покупка, этот самый что ни на есть русский предмет, имеет прямое отношение к мрачным страницам немецкой истории: он принадлежал композитору Курту Вайлю (*Kurt Weill*), автору «Трёхгрошовой оперы» по пьесе Бертольда Брехта (*Bertolt Brecht*), одному из первых, осознавших угрозу, исходящую от Гитлера, и эмигрировавшему через несколько месяцев после прихода *NSDAP* (Национал-социалистическая рабочая народная партия) к власти. Герои отправляются на поиски информации о Вайле и его таинственной любовнице, которой он оставил посвящение на самоваре, и в ходе поисков погружаются в немецкую историю двадцатого века.

По сути в «Берлинской латуни» соседствуют две параллельные сюжетные линии: во-первых, приключения, порой весьма трагические, героев в современном Берлине, а во-вторых — экскурсии в некоторые моменты правления национал-социалистов. Взаимосвязь этих двух пластов не объясняется до конца и остаётся неким мистическим соединением прошлого и настоящего. Если бы тема «окон в прошлое» не была бы такой зловещей, в голову напрашивается бы сравнение с диккенсовским «рождественским чудом». А так, книга ассоциируется скорее с более мрачными и таинственными рождественскими сюжетами Гоголя или Гофмана.

Однако же по ходу чтения осознаёшь, что в центре повествования лежит не столько сюжет, завязанный вокруг таинственного самовара, сколько взаимоотношения двух главных героев: рассказчика Дмитрия, в юношеском возрасте привезённого родителями в США и страдающего от осознания того, что его музыкальной карьере конец, и его девушки, американки, в отличие от него интересующейся историей нацизма.

В книге подробно приводятся размышления Дмитрия об их отношениях, его неуверенность в будущем и недовольство промозглым Берлином. За несколько праздничных дней, проведённых в Германии за разгадкой тайны самовара, пара сблизается, переживает опасные ситуации и благополучно возвращается домой, в Нью-Йорк.

Несколько выбиваются из общего повествования вставки с участием Гитлера, Геббельса, еврейского предпринимателя Лейбовица и прочих, призванные проиллюстрировать террор, набирающий обороты в Германии тридцатых годов. Это напоминает сценки из документальных фильмов на исторические темы, которые должны увеличить достоверность, но выполнены несколько надуманно. Однако для читателей, только поверхностно знакомых с эпизодами террора национал-социалистов, это может показаться вполне занимательным и воссоздаст более точную картину немецкой истории. Ради общего «просвещения читателя» можно простить автору и художественные вольности вроде той, что автором эмблемы СС был сам Гитлер (на самом деле известную эмблему СС — сдвоенные руны «зиг» — разработал штурмгауптфюрер Вальтер Хек (*Walter Heck*), а в дальнейшем права на использование эмблемы были проданы за символическую плату в 2,5 немецкой марки).

При всех упомянутых недостатках, у романа есть одно несомненное достоинство: он очень хорошо передаёт атмосферу предновогоднего серого Берлина. Причём как времён Веймарской республики и «третьего рейха», так и Берлина сегодняшнего. Как человеку, живущему в Берлине и искренне любящему его, автору этих строк было особенно приятно посетить вместе с Марией и Дмитрием тихие, нетуристические уголки города, а не всем известные Жандарменмаркт и Фридрихштрассе, и проехаться знакомыми маршрутами городских электричек и метро.

В книге Бочкова представлены также два рассказа. «Ферзевый гамбит» — в некотором роде стилизация под американские гангстерские фильмы с русско-еврейским иммигрантским колоритом. Этот рассказ — история о том, как две немолодые дамы из бывшего СССР, проживающие в Нью-Йорке, решили «сорвать большой куш» и ограбить местного бандитского главаря. Героини, увы, не вызывают особенной симпатии и, соответственно, сочувствия. Совсем иное, более приятное впечатление оставляет ещё один рассказ, «Парадокс Левитана». Это совсем короткий, грустный и добрый текст о «маленьком человеке», Грише Горхивере — американском радиожурналисте, вещающем на СССР (тут невольно вспоминается возможный прототип — Сева Новгородцев). Горхивер, а вернее, его «альтер эго» Билли Рокосовский пользуется огромной популярностью среди советских слушателей и постепенно вступает в невольную конкуренцию со своим творением. 

Вера Колкутина

2018/2020. Жанры и их сочетания. Смотрим, распознаём, удивляемся

*Специализация губит, ультраспециализация — убивает.
Тейяр де Шарден, французский философ, антрополог, теолог*

Кино 2018 года как бы прочувствовало слова великого французского мыслителя и нам показало следующее.

Жанровая специализация в кино не упирается и не настаивает исключительно на драме, комедии и трагедии, она открывает объятия для эксперимента и интерпретаций («Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера — социальная мифология, ужас и комедия одновременно; «Зеленая книга» Питера Фарелли — историческая ретроспектива, где скрыта драма целого народа, но подано как комедия; «Богемская рапсодия» Брайана Сингера — биографическое кино, предельно гиперболлизировано и оттого отчасти сказочно; «Остров собак» Уэса Андерсена — метафора, сатира, и в то же время это как учебник по базовым ценностям и правам человека), где точки роста и развития — не охватить и за один раз не унести.

Драмеди (это подзабытая «трагикомедия», а подзабытая из-за того, что определение «драма» плотно вошло в киноязык, а «трагедия» осталась в лексиконе театралов), триллер — это то, что волнует и вызывает смесь любопытства, страха и ожидания. Узнали? Да, сюда же мы относили ранее детективный жанр, шпионские истории. Так, например, фильм немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Жизнь других» (*Das Leben der anderen; Florian Henckel von Donnersmarck*), вышедший в 2006 году и получивший «Оскара» за лучший иностранный фильм — это триллер по жанровой стилистике, хотя мы, зрители, погружаясь в контекст истории, чувствуем драму.

Жанр фантастического фильма плотно вместил в себя приключение, опасность и катастрофу, и вот мы уже в ожи-

дании нереально-реальных фэнтези. Жанр фэнтези основывается на использовании мифологических и сказочных мотивов в современном виде, но, в отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир с научной точки зрения. Сам этот мир существует гипотетически, часто его местоположение относительно нашей реальности никак не оговаривается: это может быть как параллельный мир, так и другая планета, а его физические законы могут отличаться от земных. Главные действующие лица — боги, маги, мифические существа вроде драконов, великанов и фей. В то же время принципиальное отличие фэнтези от сказок заключается в том, что чудеса в фэнтези являются нормой описываемого мира и действуют так же системно, как и законы природы в реальном мире. А вот в фильме-сказке зрителю уготовано «сказка — ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок», тогда же как фэнтези — это жизнь, но по ту сторону этой реальности.

А жанр ужасов настолько многообразен, что глаза разбегаются — это и приключенческие фильмы ужасов, и комедийные фильмы ужасов, и биологические фильмы ужасов, и праздничные фильмы ужасов, и психологические ужасы, и естественные ужасы, а также подростковые ужасы и киберужасы, и ещё парочка поджанров останется за кадром.

2018-й киногод дал зрителю чёткое руководство к просмотру — пограничное, визуальное на грани — это киноформаты настоящего и будущего. «Пограничное» кино — это кино между документальным и художественным, интерактивное кино, «плоское» кино, снятое на мобильный телефон (например, российский сериал «Бар „На грудь“» 2018 года, режиссёр Ирина Волкова), 8D-кинотеатры, где фильм — это не фильм, а вызов органам чувств, VR-технологии в кино — всё это не «убивает» кино, но делает его сильнее. Да пребудет оно с нами, пока не переведётся попкорн.

Мы представляем вам три киноленты. Сняты они в 2018 году, и там есть всё, чтобы почувствовать, чем кино захватывает сейчас, как обстоят дела с «картинкой и содержанием», и что дальше будет только лучше. Смотрим сейчас и заглядываем в 2020-й.

Война. Искусство. История

Работа без авторства (*Werk ohne Autor*, 2018). Флориан Хенкель фон Доннесмарк

Художественный фильм. Номинация на «Оскара» («Лучший иностранный фильм»)

Жанр фильма — историческая драма или арт-триллер.

Личностью не рождаются, личностью становятся. Становятся же личностью в процессе самой жизни. Однажды начавшись, твой процесс становления личности заканчивается только в случае смерти.

За основу ленты взята биография, биография ещё живого и творящего немецкого художника Герхарда Рихтера (*Gerhard Richter*). Здесь вы не найдёте типичных моментов становления художника — «нищета и голод», «упрямство в том, что вдохновляет саму твою суть, но отвергается средой». Что тогда сделало его художником, — спросите вы. История. История семьи, история страны и само «Время». Время здесь и в привычках, и с большой буквы. Именно так показывает режиссёр семью, среду, социум, государство и весь мир — всё имеет значение, но всё настолько переплетено со всем, что властелин событий в ленте один — «Время». Про искусство ли фильм? И да, и нет. Больше про любовь, в её разных формах, контекстах и неожиданных обликах.

303 (В русской версии: «Романтики „303“», 2018). Ханс Вайнгартнер

Художественный фильм

Главные темы фильма — приключения, путешествия.

Дорога — метафора современной Германии, где уже не так спокойно, как «вчера», где что-то надо делать и кого-то менять (скорее всего, «себя»).

Лента достаточно близка по заряду и настроению фильму «Солнце Ацтеков» (в оригинале: *Im Juli*) режиссёра Фатиха Акина (*Fatih Akin*), вышедшему на экраны в 2000 году. Спустя

восемнадцать лет австриец Ханс Вайнгартнер снимает близкое по форме, но уже чуть более проблемное по содержанию кино.

Здесь Германия — это твоя «дорога», закатанная в асфальт, ровная и прямая на первый взгляд, но ямы и повреждённое дорожное полотно тоже есть, хотя именно это не видно. Все «дорожные неровности» не сверху, они все внутри, у тебя самого. Две дороги совпадают — твоя личная и та, по которой катится автомобиль. Какая окажется легче, если она одна?! Загадка. А её разгадка требует нового взгляда, прежде всего — на самого себя.

В стране толерантности и образцового равенства единственный оставшийся способ «что-то менять» — говорить. Все герои бесконечно «треплются» о важном. А трансформация случается в один миг и без слов. В дороге. Но «как это?» — об этом и расскажет кинолента.

Гитлер против Пикассо (2018). Клаудио Поли

Документальный, исторический фильм

В подобных лентах на первом месте всегда режиссёр. Особенность этого фильма в том, что здесь режиссёр, молодой (1986 года рождения!) итальянец Поли максимально растворяет себя в источниках информации, в беседах, документах, самих арт-объектах.

Изобразительное искусство ведь не приватизировано одним народом, избранной личностью, определённым временем. Да, учитывать все компоненты и авторские права нас учит закон, но ведь дух всегда свободен и принадлежит всем. Искусство просто есть. Рисуют все. Вопрос — почему мне нравится это и не нравится то? Почему изображение может быть «опасно»? И как быть, если мне нравится вот это, а это принадлежит кисти тирана и персоны нон-грата в мировой истории?

«Гитлер против Пикассо» — фильм про искусство, мораль, историю и простых людей. Про то, как не бояться, прежде всего, самого себя и своих интересов. Фильм исторический, но и терапевтический в том числе. 

Лев Казарновский

В ОБЪЯТИЯХ «СОЦИАЛА»

Действующие лица:

Работники социальной службы

Посетители

Сцена первая

Посетитель: Я извиняюсь, я к вам. Можно?

Служащая: Подождите, я занята.

Посетитель: Скажите, пожалуйста, почему всегда, когда я прихожу, вы снова заняты?

Служащая: Чтобы вы не подумали, что нам тут нечего делать.

Посетитель: А вам есть что делать?

Служащая: Нет. Но это неважно. Чем могу помочь?

Посетитель: Ничем. Только деньгами.

Служащая: Вы получаете пособие. Вам мало?

Посетитель: Достаточно. Но хотелось бы больше.

Служащая: С какой стати?

Посетитель: Я извиняюсь, мои потребности растут, а пособие почему-то нет. Вы не находите, что тут что-то неправильно?

Служащая: Если вам мало — идите работать.

Посетитель: И тогда я буду получать пособие больше?

Служащая: Тогда вы его не будете получать вообще.

Посетитель: Так какой смысл?

Служащая: Начнёте работать, снизятся потребности. И вам будет хватать.

Посетитель: Вы так думаете? Я в этом сомневаюсь.

Служащая: Я знаю, что говорю!

Посетитель: Я извиняюсь, а можно я буду работать, но вам об этом ничего не скажу?

Служащая: Мы об этом всё равно узнаем.

Посетитель: Каким образом? Будете за мной следить?

Служащая: Что вы! У нас не тоталитарное государство. Достаточно, что все следят за всеми.

Посетитель: Понятно! А нельзя ли мне получать пособие у вас, а работать на другое государство?

Служащая: Легально?

Посетитель: Предположим!

Служащая: Всё равно узнаем.

Посетитель: А нелегально?

Служащая: Тогда вряд ли.

Посетитель: Отлично! А не подскажете, где узнать про такую работу?

Служащая: Понятия не имею.

Посетитель: Что ж вы меня отправляете туда — не знаю куда?

Служащая: У нас узкая специализация. Я должна знать только то, что мне положено знать. Да и то, не полностью.

Посетитель: Ну хоть намекните.

Служащая: Я знаю только одну нелегальную работу. Шпионом.

Посетитель: Я извиняюсь, а как туда устроиться?

Служащая: Мы трудоустройством не занимаемся. Обращайтесь в агентство по труду.

Посетитель: Ой, да они там вообще ничего не знают.

Служащая: Ну, спрашивайте знакомых.

Посетитель: Да вы что! Я хотел найти магазин для малоимущих, так ни одна сволочь не подсказала. Хотя все пользуются! Может, походить по посольствам? Как вы думаете?

Служащая: Не надо никуда ходить. Пишите резюме.

Посетитель: Да вы что! Это дорого! Конверты, марки — знаете, каких денег стоят.

Служащая: Почтовые расходы мы вам оплатим.

Посетитель: А, тогда другое дело! Только, я извиняюсь, меня, случайно, не посадят?

Служащая: Тут я вам гарантию дать не могу. Так, что вы решили?

Посетитель: Вы знаете, я таки должен ещё подумать.

Служащая: Поздно! Я уже составила заявку на вас. Теперь вы должны предъявлять мне минимум пятнадцать резюме каждый месяц.

Посетитель: Какой ужас! Кому же требуется столько шпионов?

Служащая: Меня это не волнует.

Посетитель: Ладно, пойду писать. Чего не сделаешь ради того, чтобы пособия не лишиться!

Сцена вторая

Социальный работник: Вам звонят из социальной службы. Меня зовут фрау Кугелькопф. Фрау Ицикович, у меня есть данные, что вы недавно ездили к себе на родину.

Это у вас — глупости! А у нас есть свидетельские показания.

Я заблуждаюсь? Ну, это обычная уловка всех подозреваемых. Вина есть у всех, не всегда удаётся её доказать.

Говорите, весь месяц сидели дома? Кто может это подтвердить? Нет, муж и дети не годятся. Ваша подруга Соня? Вы постоянно разговаривали с ней по телефону? У неё есть запись ваших разговоров: когда звонили, откуда? Нет? В таком случае, кандидатура Сони тоже отклоняется.

А я утверждаю, что вас никто не видел. Соседей мы уже опросили.

Хотите сказать, что целый месяц просидели дома и не выходили на улицу? Ах, упали! Справка от врача имеется?

Нет, ваши коленки я рассматривать не буду.

Какой-то человек помогал вам подняться с земли? Пожалуйста: имя, фамилию, адрес этого человека.

И я должна поверить в показания свидетеля, про которого вы равным счётом ничего не знаете? Вы меня душой считаете? Да? Ну, это ваше право!

Хорошо, я слушаю. Весь месяц смотрели телевизор? Какие конкретно передачи вы смотрели? «Модный приговор», «Давай поженимся», «Пусть говорят». Это по какому каналу? Ах, по российскому! Вы что, издеваетесь? Российское телевидение вы вполне могли смотреть в самой России. Другое дело, если бы вы назвали какую-то немецкую передачу. Не смотрите немецкое телевидение? Напрасно! На этот раз оно бы вам помогло.

Значит, больше вам сказать нечего? Тогда сообщая: вы обязаны предупреждать о своих поездках на родину. Слышали об

этом? А передо мной лежит заявление, в котором вы утверждаете, что ознакомились с этим правилом. И ваша собственноручно поставленная подпись имеется. Как вы это объясните?

Когда приехали в Германию, ни слова не понимали по-немецки и готовы были подписать что угодно? А вам известно, что незнание законов не освобождает от ответственности? Поэтому я лишаю вас социального пособия за будущий месяц.

Вопросы есть?

Я бездушная чинуша? Это не вопрос, а утверждение. Если других вопросов нет, тогда всего доброго, до свидания!

Сцена третья

Служащая: Что у вас случилось?

Посетитель: У меня горе!

Служащая: Какое? Кто-то умер?

Посетитель: Да!

Служащая: Кто же?

Посетитель: Матильда.

Служащая: Это ваша родственница?

Посетитель: Это больше, чем родственница. Это родная душа!

Служащая: Кем она вам приходится?

Посетитель: Любимой собачкой.

Служащая: Ах вот оно что! Соболезную. А сюда зачем пришли?

Посетитель: Как — зачем? Мне похоронить её нужно. Достойно!

Служащая: А мы причём?

Посетитель: Ну как же! Мне говорили, что вы возмещаете затраты на похороны.

Служащая: Ну не собачек же.

Посетитель: Какая разница? Тем более, никого более близкого у меня нет.

Служащая: Как это — нет? У вас есть дети.

Посетитель: Сволочи это, а не дети. Ничего от них не добьёшься. Тем более, они живут далеко. На другом конце города. А близкая — только Матильда.

Служащая: Ну, знаете! Скоро нам крыс приносить будут.

Посетитель: Нет, нет! Начёт крыс можете не бояться. Я их сам боюсь.

Служащая: Это ваши проблемы. А мы заботимся только о людях.

Посетитель: Я пожалуюсь «зелёным»! Вы негуманно относитесь к братьям нашим меньшим.

Служащая: Хоть «красным». Ваша собачка у нас не зарегистрирована.

Посетитель: Но она же в этом не виновата. Я писал вам, чтобы учитывали её как члена семьи. А вы отказали! Денег пожалели? А ведь ни походы в кино, ни концерты её не интересовали. Всего одна баночка собачьих консервов в день.

Служащая: И правильно сделала. Заявление она должна была написать собственноручно.

Посетитель: Но она же неграмотная.

Служащая: Для нас это не имеет значения.

Посетитель: Так вы всем неграмотным отказываете?

Служащая: Не всем. Только тем, у кого нет справки, что они неграмотные.

Посетитель: Кто ей такую даст? Я её подобрал на улице. Она там жила без прописки, без документов.

Служащая: Вот видите! Значит, нам пришлось бы отправить её на курсы. Как вы себе это представляете?

Посетитель: Она бы пошла. Честное слово! Она у меня послушная.

Служащая: Слушайте, не морочьте мне голову! У нас вообще такой статьи расходов нет.

Посетитель: А вот моей соседке Софье Соломоновне вы оплатили переезд на новую квартиру. А она даже не умерла.

Служащая: Ну и что?

Посетитель: Так у нас тоже переезд. Только адрес другой. На кладбище.

Служащая: Всё равно, ничем помочь не могу!

Посетитель: Значит, отказываете?

Служащая: Да! Хороните за свой счёт.

Посетитель: А вы его видели?

Служащая: Нет.

Посетитель: Так посмотрите! (*Достаёт счёт.*)

Служащая: Ничего себе! За такие деньги я могу половину своих клиентов похоронить.

Посетитель: А я о чём говорю? Оставят голым, босым, жить нигде, есть не на что. Разве не так?

Служащая: Так!

Посетитель: А вы говорите — такой статьи расходов нет. Вот я и есть ваша статья расходов.

Служащая: Ладно, оплачу, но не полностью. Без музыки обойдётесь. Без цветов тем более. Бутылка землекопам тоже не положена.

Посетитель: Договорились! Эти расходы я возьму на себя. Но, я извиняюсь, остальное — будьте любезны!

Сцена четвёртая

Социальный работник: Алло, слушаю вас. Господин Меринов, я вам уже объясняла: получателям социального пособия иметь автомобиль не положено.

Почему, почему! Куда вы собираетесь ехать? Ходите пешком, это полезнее для здоровья.

Нет, автобусом можете пользоваться. Чем автобус полезнее машины? Тем, что дешевле. Это его главная польза.

Вам тяжело всю дорогу стоять? А что вам мешает сидеть? Женщины? Уступаете им место? Ну, знаете! Это уж ни в какие рамки не входит. У нас равноправие, а вы тут со своими сексуальными домогательствами. Сидите спокойно и не приставайте к женщинам. И тогда всё будет в порядке. Поняли?

Да, я знаю сколько стоят билеты на автобус. Конечно, каждый год дорожают. А что вы хотите? Вас, «социальщиков», становится всё больше, а бензин всё дороже. Надо же это как-то компенсировать.

Нет, от того, что вы не будете пользоваться автобусом, цены на билеты не снизятся. Вы не знаете законы экономики. Цены могут только повышаться, а понижаться — никогда. Какое

мне дело, что вам нужна машина для рыбалки? Вам в магазинах мало рыбы? Конечно, я не понимаю! Но если пойму, вам хуже будет. Начну каждый месяц с вас высчитывать стоимость пойманной рыбы.

А если почти ничего не ловите, то зачем вам ехать?

Я с вами согласна: ездить постоянно на такси дороже, чем иметь собственную машину. Но вам никто это не запрещает.

Причём здесь логика? Если повсюду искать логику, здесь был бы сплошной бардак. Одному одно не нравится, другому — другое. А сейчас логики нет, зато кругом — полный порядок. А без машины проживёте. Всего доброго!

Сцена пятая

Посетитель: Добрый день, мадам! Вы меня уже ждёте?

Служащая: Вы кто?

Посетитель: Вы разве не видите? Сирийский беженец.

Служащая: Как вы сюда попали?

Посетитель: Нет, ну какие у вас глупые вопросы! Как я сюда попал? Как все сирийцы. Прямо с поезда.

Служащая: А документы у вас есть?

Посетитель: Боже мой! Что за формальности! Какие у меня могут быть документы? Они все утонули.

Служащая: Где?

Посетитель: Ну где могут утонуть документы? Не в поезде же. В море, конечно!

Служащая: Вы на поезде переплыли море?

Посетитель: Нет, ну вы какая-то странная. Где вы видели, чтоб поезд шёл по морю? Он же не Иисус Христос. Но мне нужно же было что-то переплыть.

Служащая: Что именно?

Посетитель: Послушайте, что за допросы? Откуда я помню? Вода есть вода. На ней ничего не написано.

Служащая: Ладно! Назовите вашу фамилию.

Посетитель: Ой, она вам ничего не скажет. Мы с вами, к сожалению, не знакомы.

Служащая: Но я должна к вам как-то обращаться.

Посетитель: А, это запросто! У нас там все Мухаммеды. Я тоже — Мухаммед.

Служащая: По какой причине вы эмигрировали?

Посетитель: Что тут непонятного? У нас там полный бардак. Как там можно жить? Если не проститутка, конечно. Им хорошо! Но не всем же достаётся такое счастье!

Служащая: А почему вы приехали именно в Германию?

Посетитель: А куда я должен был?

Служащая: В Турцию, например.

Посетитель: Ой, что я там не видел? Турок? Так их и у вас полно.

Служащая: А средства для жизни у вас есть?

Посетитель: Какие средства? Были бы у меня средства, так бы вы меня здесь и видели.

Служащая: Но, насколько известно, войны у вас там уже нет.

Посетитель: Что вы говорите? А почему я об этом ничего не знаю?

Служащая: Газеты надо читать.

Посетитель: Ой, не смешите мои тапочки! Азохен вэй! Как можно верить этим брехунам?

Служащая: Но я не могу вас принять. Вы должны зарегистрироваться там, где пересекли границу.

Посетитель: А где это? Думаете, я помню? Какие-то люди меня шмонали. А кто они такие — откуда я знаю?

Служащая: Тогда получается, вы — нелегальный беженец.

Посетитель: Какой же я нелегальный? Вот у меня билет на поезд.

Служащая: Так он же из Одессы.

Посетитель: Ну да! Я там и зарегистрирован. Можете проверить.

Служащая: А как вы в Одессе оказались?

Посетитель: Как, как? Не по своей воле. Очнулся — а я уже в Одессе.

Служащая: Хорошо! Но пока отправлю вас в лагерь для беженцев.

Посетитель: Э, нет-нет! Знаю я ваши лагерь! Мой жизненный опыт подсказывает, что хорошее место лагерем не назовут.

Служащая: Глупости!

Посетитель: Я тоже так думал, пока на два года не загремел.

Служащая: Так! Либо вы соглашаетесь, либо мы вас выдворяем на родину.

Посетитель: Вот это не надо! Я согласен на всё!

Служащая: Значит, оформляю.

Посетитель: Но там, наверно, одни арабы? Они меня в свою компанию не возьмут.

Служащая: Почему?

Посетитель: Ну, у меня мамочка немного подкачала. Циля Исааковна. Им это может не понравиться.

Служащая: Не волнуйтесь. Там половина таких, как вы. *(Звонит.)* Господин Кацман. К нам ещё один сириец из Одессы прибыл. Его зовут Мухаммед, а маму — Циля Исааковна. Встречайте!

Посетитель: Спасибо! Должен вас порадовать. У вас очень гуманное государство. Если мне понравится, останусь навсегда.

Сцена шестая

Социальный работник: Алло, я вас слушаю. Да, ваше письмо я получила. Чем вы недовольны? Вам неправильно насчитали пособие? Не может быть! Меньше начислили за квартиру? А она у вас больше нормы. Как это — не изменилась? А антенну на крыше поставили? Поставили! Вот площадь и прибавилась.

Что же вы хотели, бесплатно пользоваться крышей и ничего не платить? Так не получится!

Что там ещё? Отопление? Но вы же сами написали, что сэкономили всю зиму. Так что вы от нас хотите? Надеялись, что не снимем с вас деньги. А вот на это надеяться никогда не надо. У нас это дело поставлено чётко. Ну и что, что мёрзли. Вот за это с вас и высчитали.

Да, детское пособие тоже вычеркнули. Где ваш ребёнок жил всё лето? У бабушки! Вот пусть бабушка и платит за содержание ребёнка. Она сама бедная? У бедных бабушек внуки не живут. Только у счастливых.

А где тогда ошибка? В сумме? Вы думаете, наши работники считать не умеют? Ах, вы работали бухгалтером? Где, в России? Что ж вы сравниваете. В России, конечно, могут быть ошибки. Было бы странно, если бы их не было. Но у нас —

никогда! Да, я в этом уверена. Сколько начислили, столько получите!

Проверять — моя обязанность? Эх как вы тут все в законах стали разбираться. Ладно, так и быть, пересчитаю. В какой графе нашли ошибку? В сумме? Ну и что там неправильно? Что?! Больше начислено, чем надо? Где, где?! Что ж вы сразу не сказали? Полчаса мне голову морочили. А вы почему так поздно сообщили? Вы должны были позвонить сразу, как получили расчёт. Безобразия! Чтоб такое больше не повторялось! До свидания!

Сцена седьмая

Посетитель: Здравствуйте. Я пришёл с жалобой.

Служащая: На что?

Посетитель: Всюду говорят, что вы обеспечиваете нас самым необходимым. А что на деле? Мне отказали даже в пустяковой просьбе.

Служащая: В чём именно?

Посетитель: В лекарстве.

Служащая: Да вы что! Такого не может быть.

Посетитель: Может! Мне сказали, что я могу покупать его только за свой счёт. А вы знаете, сколько оно стоит? У меня и денег таких нет.

Служащая: Вы, наверно, хотите дорогое лекарство, а вам предложили такое же, только подешевле.

Посетитель: В том-то и дело, что нет.

Служащая: Что — нет?

Посетитель: Дешёвого нет. Есть только одно-единственное.

Служащая: Какое?

Посетитель: Боюсь, если я скажу, вы обо мне плохо подумаете.

Служащая: С чего бы это? Я о всех плохо думаю. Говорите!

Посетитель: Мне требуется «Виагра».

Служащая: Вам-то она зачем? Посмотрите в паспорт. Небось, родились в позапрошлом веке.

Посетитель: Не преувеличивайте. Только в прошлом. Но мужчина в любом возрасте хочет быть на коне!

Служащая: Ну вы даёте! Коня, что ли, вам подавай?

Посетитель: Вы меня не так поняли. В смысле, на высоте.

Служащая: Запишитесь в парашютную секцию. Только предупреждаю, если упадёте и разобьётесь, мы за вас отвечать не будем.

Посетитель: Вы что, издеваетесь? А если я вам предложу вместо секса прыгать с парашютом? Вам понравится?

Служащая: Зачем мне прыгать с парашютом? Я хожу в бассейн плавать. Это гораздо полезнее. И вам советую.

Посетитель: В том-то и дело! Я тоже хожу. В этом вся проблема. Там девушки голые. В одних купальниках. И мне после этого секса хочется.

Служащая: Так не ходите в бассейн, и ничего хотеться не будет.

Посетитель: Вы хотите лишить меня даже удовольствия смотреть на девушек?

Служащая: Послушайте, либо смотрите, либо хотите. Выберите что-то одно!

Посетитель: Но если я не буду ходить, секс всё равно не появится.

Служащая: Ну вы и привередливый! Я вам столько вариантов предложила, а вас всё не устраивает.

Посетитель: Но вы же предоставляете социальную помощь.

Служащая: Больным и немощным.

Посетитель: Вот! Я как раз немощный.

Служащая: Не в том смысле.

Посетитель: А когда у человека болят суставы, и он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, вы ему помогаете?

Служащая: Что ж вы сравниваете руку, ногу с этим...

Посетитель: С чем?

Служащая: Неважно... Без этого можно прожить.

Посетитель: Из-за таких, как вы, в стране падает рождаемость.

Служащая: Неправда! Рождаемость мы поддерживаем. Всеми возможными способами.

Посетитель: Какими же, интересно?

Служащая: Платим детские пособия.

Посетитель: От этого дети не рождаются! А вы на секс деньги жалеете!

Служащая: И без вас найдутся желающие им заниматься.

Посетитель: Зря вы так думаете! Вы же своими силами не справляетесь, мигрантов сюда запустили! Так их же содержать надо! А я предлагаю свои услуги, и всего лишь за какую-то несчастную пачку таблеток.

Служащая: Нет!

Посетитель: Вы не патриот своей страны! В то время как демографическая ситуация на грани катастрофы, вы не хотите палец о палец ударить, чтобы её исправить. Позор!

Служащая: Погодите! Ладно, так и быть. У меня тут есть с собой пачечка «Виагры». Держу для мужа на всякий случай. Пользуйтесь, и не думайте, что у нас не осталось патриотов.

Сцена восьмая

Социальный работник: Социальная служба, фрау Кутелькопф. Слушаю вас, госпожа министр!

Куда хотите меня отправить?

На курсы повышения квалификации? Чтобы мы были ближе к народу? Мы и так близко, куда уж ближе?

Ах, есть куда? И где будут эти курсы?

Прямо на месте? Прекрасно, значит, никуда ехать не надо. А можно узнать поподробнее?

Я стану получателем социальной помощи? Это интересно! И сколько я буду получать?

Столько же, сколько остальные «социальщики»? Не поняла! А как же я буду на эти деньги жить?

Как все живут, так и я? Но, простите, мне этих денег не хватит, чтобы оплатить даже квартиру. И что, я должна буду переехать из трёхкомнатной в однокомнатную? И чтоб цена — не выше нормы? Вы шутите? Где ж я такую найду?

Где другие находят, там и я? А как долго продлятся курсы?

Пока я не найду себе работу? Так кто ж меня возьмёт в моём возрасте? Всюду требуются до сорока лет.

Как другие находят, так и я? Но другие тоже не находят.

Поняла! А что делать с отпуском? Я два раза в году ездила отдыхать на курорты, один раз зимой, один раз летом.

Сейчас буду отдыхать круглый год, но никуда не ездить. Понятно! А отказаться от этих курсов нельзя?

Нет? Ой, ещё один вопрос: кто придумал эту ерунду? Ой, простите, идею?

Вы лично. Я вас поздравляю! И как только она пришла вам в голову?

Вы сами были получателем социальной помощи?

Постойте, постойте! Фрау Ицикович, это вы? Я узнала вас по голосу. Как вам не стыдно так шутить? Я чуть инфаркт не получила! Положите трубку и не звоните мне больше. *(Набирает номер телефона)*. Алло, турагентство. Срочно нужна путёвка. Куда угодно. Спасибо! А ещё удивляются, почему у нас два отпуска в году. Потому что работа нервная!

Сцена девятая

Посетитель: Здравствуйте! Я хочу поинтересоваться. Я тут недавно купил лотерейный билет. И, предположим, по нему выиграл крупную сумму.

Служащая: Какую?

Посетитель: Я же сказал, предположим.

Служащая: И что вы от меня хотите?

Посетитель: Хочу просто поставить вас в известность.

Служащая: Хорошо! Поставили. Что дальше?

Посетитель: Так я смогу получить эти деньги?

Служащая: Получайте, почему нет? Но мы вычтем эту сумму из вашего пособия.

Посетитель: Всю?

Служащая: Всю!

Посетитель: Постойте, а что мне останется?

Служащая: Наше пособие.

Посетитель: Но это несправедливо. Давайте договоримся! Ваши пятнадцать процентов, остальное — моё. Вас это устроит?

Служащая: Нет!

Посетитель: Мало? Ладно, не буду жадничать. Я готов уступить. Двадцать пять — и по рукам!

Служащая: Я вам объясню. Это ваш доход. А если вы получаете доход, то не можете получать пособие. Понятно?

Посетитель: Понятно, как тут не понять? У вас большие запросы, семья, дети. Но уж пятьдесят процентов вас устроят?

Служащая: Прекратите, мы не на базаре. Здесь не торгуются.

Посетитель: Вы мне это будете рассказывать! Я всю жизнь в торговле. Учтите, если вы запросите слишком много, вообще останетесь ни с чем.

Служащая: Я не хочу больше на эту тему говорить. До свиданья!

Посетитель: Ну зачем вы так? Я же могу обидеться и действительно уйти.

Служащая: Уходите!

Посетитель: Но я не уйду! Я же опытный человек. Два раза в тюрьме сидел. А вы знаете, что значит в СССР сидеть в тюрьме? Это значит, что я успешно работал. Разгильдяев никто в тюрьму не сажал. А побывал в тюрьме — считай, заслуженный работник торговли. Так вот я — дважды заслуженный. Семьдесят процентов, надеюсь, устроят?

Служащая: Я же сказала, что нет!

Посетитель: Послушайте, но это же грабёж среди бела дня. Так дела не делаются. Представляете, мне бы кто-то предложил семьдесят процентов от прибыли ни за что, ни про что. Так я бы лучше третий раз в тюрьму сел, но не отказался.

Служащая: Всё, я не хочу больше с вами разговаривать.

Посетитель: Моё последнее предложение — восемьдесят процентов!

Служащая: Идите вон!

Посетитель: Вы хоть понимаете, от чего вы отказываетесь? Знаете пословицу: «Жадность фраера сгубила». Если мы с вами договоримся, я ещё куплю несколько билетов, и вы сможете бросить эту поганую работу.

Служащая: Я сейчас вызову полицию.

Посетитель: А вот это не надо. Зачем нам полиция? Ведь тогда половину придётся ей отдать. Вам самой это невыгодно.

Служащая: Нет!

Посетитель: Тогда я не понимаю, чего вы хотите?

Служащая: Вы получаете свой выигрыш, а мы высчитываем с вас 100 процентов.

Посетитель: А в чём же мой гешефт?

Служащая: Мы вам возвратим стоимость билета.

Посетитель: Вы издеваетесь? Я тут целый час бьюсь как рыба об лёд, готов пойти на невиданные уступки, а вам всё не нравится. Ну, знаете, первый раз имею дело с таким партнёром. Всё! Я ухожу!

Служащая: Вы забыли свой билет.

Посетитель: Оставьте его себе! У вашей страны нет будущего. Кто с вами будет иметь дело, если всю прибыль вы хапаете себе? Дураков нет! Это я говорю от имени всех заслуженных работников советской торговли. Если бы нас не сажали в тюрьму, наша страна была бы ещё о-го-го!

Служащая: Мне ваш билет не нужен.

Посетитель: Мне тоже. Я решил эмигрировать назад. Говорят, у нас опять нормальная страна стала. Я там ещё развернусь. А вы тут загнивайте дальше! 

Сведения об авторах

ЯНИНА АХХ (1980, Новосибирск). Актриса, режиссёр, художник перформанса. Учится в нидерландском университете искусств *ARTEZ* на курсе «Мастер театральных практик». Окончила отделение английской лингвистики Татаро-американского регионального института. Степень магистра по специальности «функционирование телевидения» Поволжского (Казанского) федерального университета. Участвовала в журналистских программах Свободного университета Берлина. Получала стипендию Правительства РФ за научные достижения, призовые места на конференциях по вопросам медиа. Победительница конкурса Гёте-Института *Das Jetzt-Gefühl*. Работала главным редактором журнала 'w'. Снимала документальные фильмы для ГТРК «Татарстан». В Германии с 2015 года. Живёт в Берлине.

ЛЮДИЛА ДЕ ВИТТ (1957, Люберцы, Московская обл.). Филолог-германист. Окончила филфак МГУ им. М. Ломоносова. Работала гидом-переводчиком в «Интуристе», преподавателем немецкого языка, переводчиком и представителем различных фирм из ФРГ и Швейцарии. Публикации в литературном объединении «Источник-11» (Гамбург), газете *TVRUS*, бюллетене Еврейской общины Киля и региона. Автор поэтического сборника «Зарубка» (2017). В Германии с 2001 года. Живёт в Киле.

АЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ (1973, Москва). Писатель, журналист. Публикации в журналах «Смена», «Арион», «Новый мир», «Октябрь», *Schreibheft, Index of Censorship*, «Дети Ра», газетах *Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung*, «Литературные новости», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Независимая газета», «Литературная Россия», «Новое время», «Известия», «Новые известия», и других. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Аномализм» (1993), «Детская книга мёртвых» (1994), «Последняя старуха-процентщица русской литературы» (1996), «Собака Павлова» (1996; 1999), «Земля Нуля» (1997), «Чёрная Икона русской литературы» (2005), «Мир как Воля

и Преступление» (2014), «Чёрная Икона русской литературы» (2014), «Сборник стихов А. Витухновской ДООС-Поэзия» (2015), «Человек с синдромом дна» (2017), «Меланхолический конструктор» (2017). На немецком языке вышла книга *Schwarze Ikone* (2002, *DuMont Verlag*). Была награждена литературной премией Альфреда Топфера (Германия) в 1996 г. Лауреат премии «Нонконформизм-2010» в номинации «Нонконформизм-судьба». Живёт в Москве.

ЮЛИЯ ВИШКЕ (1981, Мценск). Доктор философии, гдл, доцент. Изучала философию, русскую литературу и историю 20-го века в Тартусском университете. В 2005-2006 годах исследовала в качестве стипендиата Берлинской палаты депутатов историю русских философов эмигрантов в Берлине 1920-1930-х годов. Защитила докторскую диссертацию по философии в университете им. Гумбольдта на тему *Philosophieals Erinnerung: Dimensionen des Erinnerungsbegriffs im Anschluss an Schelling* (2010, опубликована в 2012). Автор нескольких научных статей о природе воспоминания, конфликтов памяти в современной Европе на немецком языке. Проводит экскурсии на русском и немецком языках. Преподаёт в берлинских высших учебных заведениях. В Германии с 2005 года. Живёт в Берлине.

АННА ДАВИДЯН (1973, Москва). Переводчик, координатор проектов. Работала референтом по России в программе «Свободная пресса Восточной Европы» (*ZEIT-Stiftung*). Финалист литературного конкурса русского зарубежья «Пушкин в Британии». Публиковалась в вестнике МГУ, сборнике *Four Centuries* (переводы стихов с русского на немецкий). В Германии с 1994 года. Живёт в Гамбурге.

ТАТЬЯНА ДАГОВИЧ (1980, Днепропетровск). Прозаик, поэт, преподаватель. В Днепропетровском национальном университете получила филологическое образование, в Мюнстерском университете — философское. С повестью «Продолжая движение поездов» стала лауреатом «Русской премии» за 2016 год (повесть вышла отдельной книгой, изд. «Время», 2018). Автор романа «Ячейка 402» (премия «Рукопись года» 2010 в номинации «Оригинальная идея») и сборника повестей «Хочущие куклы». Публикации в журналах «Новая Юность», «Нева», «Зарубежные

Задворки», *Homo Legens*, «Нижний Новгород», в альманахе «Голстый: Всё включено». Постоянный автор журнала «Берлин. Берега». В Германии с 2003 года. Живёт в Унне.

АЛЕКСАНДР ДЕЛЬФИНОВ (1971, Москва). Поэт, журналист, гражданский активист. Участвовал в создании регей-группы «Джа Дивижн» и арт-группы ПГ (Москва), культурной платформы RANNA (Берлин) и социально-информационного проекта «Наркофобия». Автор поэтических книг «Веселые нечеловечки» (2000), «Анестезия 2084» (2003), «Воробынный атом» (2013), *#TriggerWarningPoetry* (2017). Стихи и художественные тексты публиковались в различных печатных и сетевых журналах. Победитель международного поэтри-слэма на берлинском литературном фестивале (2007), российский участник Всемирного поэтри-слэма в Париже (2016). Победитель международного поэтри-слэма в Иерусалиме (2016). Постоянный автор журнала «Берлин.Берега». В Германии с 2001 года. Живет в Берлине и Бонне.

ЕЛЕНА ИНОЗЕМЦЕВА (1975, Семипалатинск). Искусствовед, литератор, художник. Ряд публикаций в немецких, российских и прочих литературных изданиях. Входила в длинный список конкурса «Заблудившийся трамвай» (2005), длинный список «Русской премии» (2015), короткий список конкурса рассказа имени В. Г. Короленко (2015). Постоянный автор журнала «Берлин.Берега». В Германии с 1998 года. Живёт в Лейпциге.

ЛЕВ КАЗАРНОВСКИЙ (1948, Рига). Драматург. Окончил Ленинградский институт связи им. Бонч-Бруевича. Работал монтировщиком декораций в театре, радиометристом в геологической экспедиции на Дальнем Востоке, инженером в НИИ и на производстве, журналистом, ведущим юмористических рубрик в рижских газетах, журналах и ТВ. В 1991 г. стал одним из основателей и директором театра для детей «Люди на чемоданах» при Латвийском детском фонде. Лауреат конкурсов «Лучшая книга года» в Германии. Автор 20 пьес, многие из которых стали победителями международных конкурсов («Литодрама», «Время драмы», «Антоновка» (Россия), *Badenweiler* (Германия)). Спектакли ставились в России, Германии, Латвии, Украине, Румынии. В Германии с 2001 года. Живёт в Нойсе.

ЖАННА ЛЕБЕДЕВА (1977, Санкт-Петербург). Пианист, композитор, поэт, художник-график. Окончила Санкт-Петербургскую государственную Консерваторию. Автор камерных и оркестровых сочинений, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей, в 2003 году записала компакт-диск. Автор и иллюстратор музыкальных учебных пособий «Твой друг — рояль» (1999) и *Touches noires* (2016). Дипломант поэтического конкурса «Под небом Балтики-2011». Публикации в журналах «Полутона», «День и ночь», *LiteraRus*, «Слово\Word», «Топос», «Зарубежные задворки», «Камертон», «Квадрига Аполлона», «Гатчина-Инфо», *nashagazeta.ch*, «45-параллель», «Пролог». Жила в Швейцарии. В Германии с 2018 года. Живёт в Берлине.

ЛЕРА МАНОВИЧ (1976, Воронеж). Поэт, прозаик, драматург. Окончила Воронежский государственный университет (магистр математики) и ВЛК при Литературном институте им. Горького. Стихи и проза опубликованы в журналах «Арион», «Дружба народов», «Новый Мир», «Октябрь», «Урал», «Kolik» и других. Автор книг «Первый и другие рассказы» (2015) и «Стихи для Москвы» (2018). Тексты переведены на немецкий и польский языки. Живёт в Москве.

ЖЕНЯ МАРКОВА (1979, Киев). Поэт, преподаватель, переводчик. Организатор поэтических мероприятий в Берлине и других городах. Публикации в изданиях «Сетевая Словесность», «Окно», «Полутона». Член редакционной коллегии журнала «Берлин.Берега». В Германии с 2001 года. Живёт в Берлине.

БОРИС МАРКОВСКИЙ (1949, Киев). Поэт, переводчик. Ряд публикаций в литературных журналах. Автор книг стихов и переводов «Пока дышу, надеюсь» (2002) и «В трёх шагах от снегопада» (2006), обе в издательстве «Алетейя». С 1998 года главный редактор международного литературного журнала «Крещатику». В Германии с 1994 года. Живёт в Бремене.

СЕРГЕЙ ПРОНИН (1983, Москва). Дизайнер игр, сценарист, прозаик. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности Мировая экономика, получил степень магистра искусств в области дизайна игр в *University of Central Lancashire*

(Великобритания). Лауреат международных и российских театральных фестивалей и фестивалей эстрадных миниатюр. В Германии с 2013 года. Живёт в Берлине.

МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ (1936, Москва). Журналист, публицист, прозаик. Член Союза писателей Москвы. Редактирует газету «Еврейская панорама». Работал в различных газетах и журналах России — в «Московской правде», «Сельской жизни», «Огоньке», «Веке». Публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Звезда», «Нева». Автор ряда книг, последняя из которых — «Диабет и другие повести» — вышла в Москве в 2016 году. В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

СОНЯ РЫБКИНА (2000, Санкт-Петербург). Учащаяся школы-консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Публиковалась в журнале «Слово\Word». Живёт в Санкт-Петербурге.

ИННА САВВАТЕЕВА (1963, Чита). Искусствовед, кандидат наук. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Диссертация на тему «Образ Саломена в изобразительном искусстве». На протяжении многих лет издавала газету на русском языке («Мюнхен плюс», «Германия плюс», 1997–2015). Автор ряда статей, книг-бестселлеров «Привет, Мюнхен!» и «Романтическая дорога», а также уникальных тематических экскурсий-лекций по художественным собраниям Мюнхена. В Германии с 1992 года. Живёт в Мюнхене.

ВАНКОК СЕМЁНОВ (1956, Балахна, Нижегородская обл.). Художник, прозаик. С 1984 по 1996 годы работал в Александринском театре. Занимался изобразительным искусством в различных студиях, выставлялся с ТЭИ, состоял в неформальных объединениях. Играл на гитаре в норвежской группе. Жил в Норвегии. Литературная публикация в журнале «Берлин.Берега» стала первой. В Германии с 2010 года. Живёт в Берлине.

СЕРГЕЙ СТРАХОВ (1956, Киев). Профессиональный переводчик. По образованию инженер-мостостроитель. Стажировался в Дюссельдорфе и Нью-Йорке. Помимо прочего, работал в гамбургской газете *Moskauer Börsenbrief*. Публикации в изданиях *Hamburger Mosaik*, *Hamburg und Wir*, *Slovo* (Гамбург) «Пенатъ» (Лейпциг), *Impuls* (Киль). Автор текстов к двум CD-проектам. В Германии с 1999 года. Живёт в Киле.

МАРК ТАЛЬБЕРГ-ЖУКОВ (1992, Тарту). Студент Свободного университета в Берлине (история, немецкая филология). Публикация в журнале «Берлин.Берега» стала первой. В Германии с 2000 года. Живёт в Берлине.

ОЛЬГА ФЕДОРОВСКАЯ (1971, Северодвинск). Финансист, аудитор. Преподаватель китайской живописи. Экскурсовод, автор интернет-проекта «Неизвестный Дюссельдорф». В Германии с 2013. Живёт в Дюссельдорфе.

ЮЛИЯ ШОКОЛ (1997, Николаев). Филолог, переводчик. Окончила ЧНУ им. Петра Могилы, факультет романо-германской филологии. Учится в Венском университете. Публикации: альманах «Провинция у моря», журналы «Соборная улица», «Южное сияние», «Золотое Руно», «Эмигрантская лира». Финалист поэтического фестиваля «Провинция у моря» (Одесса-Ильичёвск, 2015). Лауреат «Чемпионата Балтии по русской поэзии» (2016, 2018), «Кубка Мира по русской поэзии-2018». Лауреат V международного поэтического конкурса «45-й калибр» имени Яропольского (2017) и интернет-конкурса «Эмигрантская лира» (2018/2019). С 2018 года живёт в Австрии.

НЕЛЛИ ШУЛЬМАН (1972, Санкт-Петербург). Прозаик, преподаватель иностранных языков. Магистр иудаики (окончила *Leo Baeck College*, Лондон). Автор цикла исторических романов «Вельяминовы», в рамках которого уже вышли четыре книги. В Германии с 2017 года. Живёт в Берлине.

ЕЛЕНА ЭЙНГОРН (1982, Запорожье). Преподаватель, доцент Технического университета (TU) Берлина. Училась в университете Потсдама и TU. Соучредитель и руководитель обучающего стартапа *Coursento*. Возглавляла Объединение еврейских студентов в Германии (BJSJ), входила в президиум Европейского союза еврейских студентов. Автор научных публикаций. В Германии с 1998 года. Живёт в Берлине.

Kurze Zusammenfassung

Das 8. Heft der Literaturzeitschrift "Berlin.Berega" enthält:

- Gedichte von **Alexander Delfinov**, **Genia Markova**, **Jeanne Lebedeva** (alle Berlin), **Boris Markowski** (Bremen), **Iuliia Shokol** (Wien) sowie **Alina Wituchnowskaja** (Moskau).

- Ein Epitaph für **Oleg Jurjew**, verfasst von der Dichterin **Polina Barskova** (USA). Jurjew, einer der bedeutendsten bemerkenswertesten Literaten, lebte seit 1991 in Frankfurt/Main und verstarb im Juli 2018. Dem Epitaph folgt eines seiner Gedichte.

- Erzählungen der Berliner Autorinnen bzw. Autoren **Michail Rumer-Sarajev** (sein Text heißt "Der Höchste weiß"), **Vancoke Semenov** ("Ein Mädchen aus Katmandu"), **Janina Ahh**, ("Klara's Dämonen"), **Sergey Pronin** („Die Kaffeefahrt“). **Tetyana Dagovych** (Unna) ist mit einem Fragment ihres neuen Romans "Nach den Ereignissen" vertreten. Die Moskauerin **Lera Manovich** präsentiert zwei Kurzgeschichten: "Die Musik" und "Der Hintern".

- Ein Theaterstück des Dramatikers **Lev Kazarnovskis** (Neuss). Es heißt "Umarmt vom Sozial".

- Vier Texte zum 120. Geburtstag des prominenten Schriftstellers **Vladimir Nabokov**. Der Literaturhistoriker und Journalist **Ivan Tolstoi** (Prag) hat unserer Zeitschrift ein Interview gegeben, in dem er erklärt, was Berlin für Nabokov bedeutete, wieso Tolstoi den Schriftsteller als "Anti-Emigranten" bezeichnet, und warum Nabokov die Gräber seiner Eltern in Berlin und Prag nach dem Jahr 1937 niemals mehr besuchte. Die aktuelle Ausgabe bringt außerdem drei Essays der Berliner AutorInnen: **Nelly Shulman** (ihr Essay heißt "Juli"), **Julia Wischke** („Mit Nabokov durch Berlin“) und **Grigorii Arosev** („Ein endloser Nabokov-Tag“).

- Übersetzungen aus den Werken von **Max Herrmann-Neiße** (**Sergej Strachov** und **Ljudmila de Witt**, beide Kiel), **Georg Heym** (Anna Davidian, Norderstedt) sowie **Heinrich Heine** (**Sonja Rybkina**, Sankt-Petersburg).

- Ein Beitrag von **Olga Fedorovskaya** (Düsseldorf) über den russischen Dichter **Sergej Jessenin**, genauer gesagt, über seine Reise nach Deutschland.

- **Elena Eyingorn** (Berlin), **Yelena Inosemtseva** (Leipzig), **Inna Sawwatejew**a (München) und **Mark Thalberg-Žukov** (Berlin) besprechen die folgenden Bücher: “Sechs Koffer” (**Maxim Biller**), “Nach Moskau und zurück” (**Nadine Menzel**), ferner eine russische Übersetzung von **Walter Benjamins** “Vom Sammeln und von Sammlern und “Berliner Messing“ (**Valerij Botschkow**, russisch).

- Filmkritiken von **Vera Kolkutina**. Sie behandelt die drei Filme “Hitler contro Picasso e gli altri”, “Werk ohne Autor” und “303”.

Информация о подписке

на литературный журнал «Берлин.Берега»

Для подписки на журнал или покупки отдельных экземпляров просьба отправить запрос на электронный адрес **berlin.berega@gmail.com**

Печатная версия

Актуальный номер: **13,- €.**

Подписка на **2019** год: **24,- €.**

Каждый ранее вышедший номер (просьба уточнять наличие): **10,- €.**

Все цены указаны **для Германии.** Пересылка **включена.** При заказе из других стран просьба уточнять стоимость пересылки в редакции.

Электронная версия

Европейский Союз, Россия

Актуальный номер: **3,5 €/100 руб.**

Подписка на **2019** год: **6,- €/150 руб.**

Каждый ранее вышедший номер: **2,5 €/70 руб.**

Украина, Беларусь, Казахстан,

Актуальный номер: **20 гривен/1,5 рублей/200 тенге**

Подписка на **2019** год: **35 гр./2,5 руб./300 тенге**

Каждый ранее вышедший номер: **15 гр./1 руб./150 тенге**

Израиль, США

Актуальный номер: **10 шекелей/3,5 \$**

Подписка на **2019** год: **15 шекелей/6,- \$**

Каждый ранее вышедший номер: **8 шекелей/2,5 \$**